

СТРАННИК

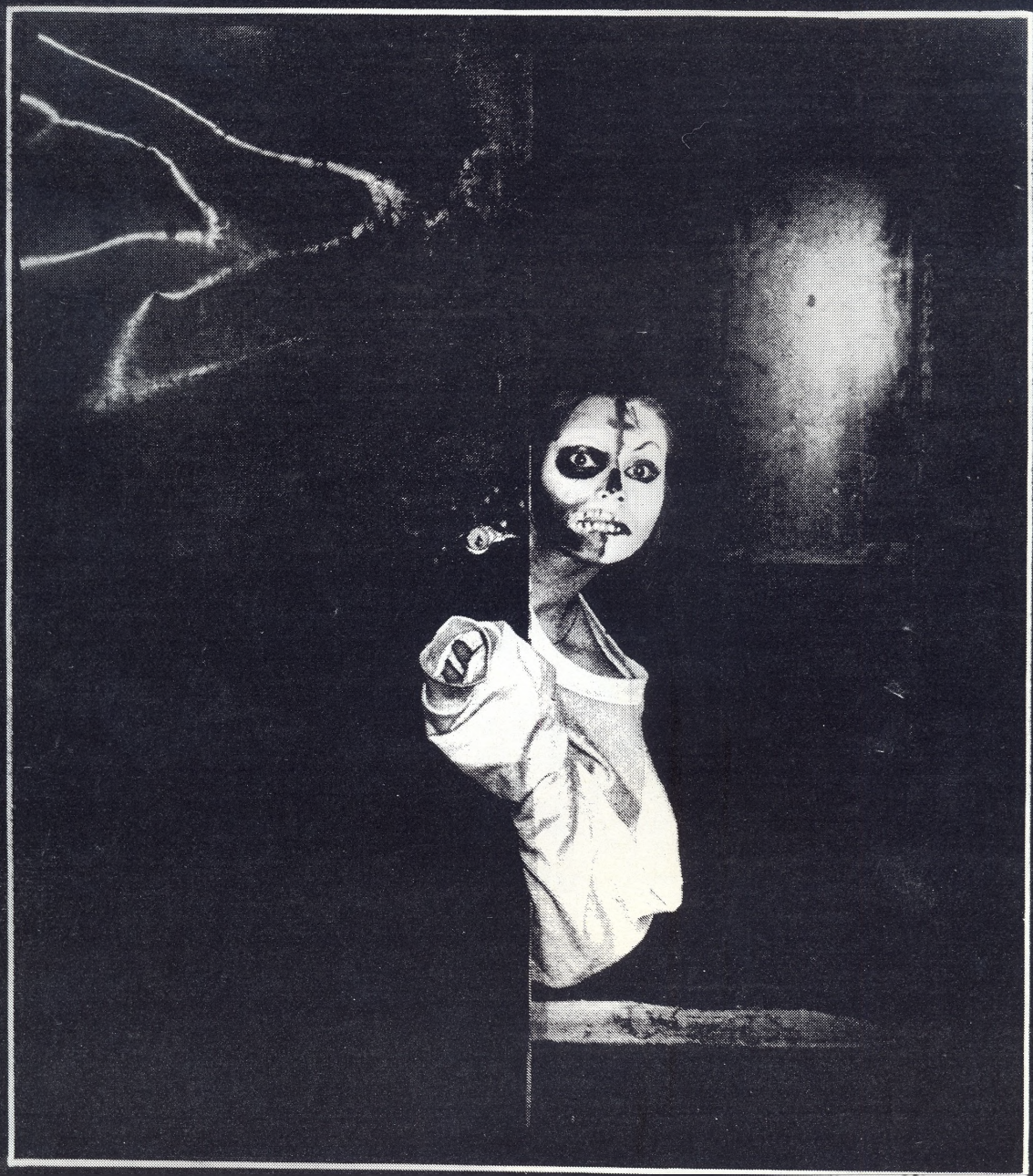
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ПОЛИТИКА

2(4)92



Бунтующий человек — это человек, живущий до или после священного.

А. Камю.



Бунт смешался с растерянностью, цинизм — с невинностью; политика превратилась в разновидность порно, а скорбь окрасилась гротеском. Такова сегодняшняя жизнь. Таким получился и этот номер. Здесь, как и в жизни, много странных, произвольно возникших переключек и сближений. Есть высокое и низкое, а более всего смешного. Пожалуйста, не принимайте все слишком близко к сердцу.

СТРАННИК

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ПОЛИТИКА

Издается товариществом «Странник»
при участии СП «Нептун Пасифик»

2(4)·92

СТРАННИК 2(4)/92

Прямое слово

Владимир Кантор. ПОМОЖЕТ ЛИ НАМ ЗАПАД? 2

Встреча с поэтом

Тимур Кибиров. КОГДА БЫЛ ЛЕНИН МАЛЕНЬКИМ 8

Диковинный мир

Франц Кафка. БЛЮМФЕЛЬД, ПОЖИЛОЙ ХОЛОСТЯК.

Перевод с немецкого И. Щербаковой 14

В порядке бреда

Софья Купряшина. ТРИ ШТУЧКИ 24

Знакомство

Алексей Михеев. НЕУДАЧНИКИ. Роман в шести днях 28

Разговор в пути

КОНСИЛИУМ, ИЛИ «ВСТАНЬ И ХОДИ».

Из стенограммы заседания клуба «Московская трибуна»

19 января 1992 года 46

Записная книжка

Сергей Яковлев. ВОСПОМИНАНИЕ О КУЛЬТУРЕ.

Заметки начала 80-х годов 56

На пепелище

ВОЛЧЬЯ НОЧЬ. Письма и стихи Н. П. Кугушевой-

Сивачевой. Публикация Нины Рубашовой 61

Проклятые вопросы

Аарон Штейнберг. ДОСТОЕВСКИЙ И ЕВРЕЙСТВО.

Публикация и вступительная заметка Сергея Белова 66

Следы минувшего

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

12 и 13 МАРТА 1907 ГОДА. (Окончание) 74

Из старых газет

Владимир Короленко. КРЕСТ И ПОЛУМЕСЯЦ.

Публикация Павла Негретова 84

Маргиналии

Вадим Линецкий. МАТ В РУССКОЙ ПРОЗЕ 87

Письмо из-за границы

Леонид Люкс. СЛИШКОМ МОДНОЕ

СЛОВО «ФАШИЗМ» 92

Tête-à-tête

Георгий Юдин. ИСТОРИИ ПРО ЛЕБЕДЕВА 94

В оформлении номера использованы рисунки Франца Кафки (стр.49-55) и серия рисунков Павла Бунина к «Мемуарам» Казановы (стр.28-45)

На первой странице обложки рисунок Владимира Стахеева «Кот шипящий»

На второй странице обложки фоторабота Владимира Авдиенко

Учредитель
и главный редактор
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

Редакционная коллегия:
ГАЛИНА БЕЛАЯ
АНДРЕЙ БИТОВ
ЛЮДМИЛА БУСУЕК
АЛЕКСАНДР ДОБРОХОТОВ
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ
ВЛАДИМИР КАНТОР
СЕРГЕЙ ЛАРИН
ИНАР МОЧАЛОВ
ВИКТОР ПОВАЛЯЕВ
АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ
ЛЕВ ТИМОФЕЕВ
ДАВИД ФЕЛЬДМАН
ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ
ГРИГОРИЙ ХАНИН
ПЕТР ЧЕРКАСОВ
БОРИС ЧЕРНЫХ
МАРИЭТТА ЧУДАКОВА
ГЕОРГИЙ ЮДИН

Главный художник
ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ

© «Странник», 1992

Адрес редакции:
121019, Москва, а/я 60
Тел. 241-45-52

Цена договорная

Сдано в набор 22.04.92.
Набрано и сверстано
на предприятии «АКМЕЛ»
Формат 60×84/8.
Бумага офсетная.
Офсетная печать.
Гарнитура «Таймс».
Усл. печ. л. 11,16
Уч.-изд. л. 12,25

Отпечатано с готовых оригинал-макетов в Мытищинской
типографии
Зак. 3204 Тир. 6.000

ПОМОЖЕТ ЛИ



Фото Вячеслава ПОМИГАЛОВА

Мы пришли к тому, с чего начинали наши предки: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». Нет порядка, нет трудолюбия, нет прилежности. Производим мало, да и это малое производство сокращается. Зато есть воровство (сверху донизу), спекуляция, коррупция, полный произвол. С отчаяния кажется, что пришла пора послать за варягами — настолько беспомощны и нынешние правители, и их оппозиция.

Мы отказались от старой идеологии, которая была для нас воплощением революционного пафоса. Отказались с благословения высшего начальства, кардиналов и пап этой идеологии. «Святые отцы» из политбюро настроили народ враждебно к марксизму — подобно тому как тысячу лет назад князь Владимир, вначале ревностный защитник язычества, вдруг «повелел опрокинуть идолы — одних изрубить, а других сжечь» («Повесть временных лет»).

Почему это произошло? С чем мы остались и где новые святые, каковы они?

При внимательном взгляде в потрясения, имевшие место в русской истории (включая петровские реформы), становится ясно, что каждый раз России в разных обликах являлся один и тот же манящий образ. Происходила глобальная корректировка российского пути по западному образцу. Удачная или неудачная — это уже другой вопрос.

Сегодня, когда говорят о выборе западного, буржуазного пути, слышатся и возражения: а может ли национальная культура что-либо выбрать и развиться ли она по особым, своим собственным законам? Возражение резонное. Но и путь у России в самом деле особый, в него входит и постоянная ориентация на Запад. Это своего рода саморегуляция культуры.

Уже первое решение на заре нашей истории — принять христианство — определило направление России в сторону Европы. Не случайна молитва князя Владимира: «Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать тебя, истинного Бога, как познали тебя христианские страны». Россия вошла в число христианских стран, то есть стран европейских. Замечу (на это обстоятельство мало обращается внимания, а оно весьма существенно): крещение произошло до разделения церквей, до Схизмы. Тем самым близость к византийской церкви не означала вражду к католической Европе. Поэтому смело могли русские князья родниться с королевскими дворами всей Европы, не испытывая неудобств с необходимостью креститься заново.

Христианство было сознательным выбором тогдашнего правительства. И, несмотря на некоторую смуту в умах, простолюдины пошли за князем и его дружиной, «ликуя и говоря: "Если б не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре"». А ведь была возможность и азиатской ориентации, не говоря уж о степном паганизме.

Эту принципиальную устремленность России на Запад хорошо показал С. М. Соловьев, считавший, что историческими обстоятельствами отнесенные на восток и ставшие Русью славяне всю свою сознательную тысячелетнюю жизнь сызнова стремились соединиться с Европой. Этому служил и выбор идеологии. Существует национальное предание, писал Соловьев, «это предание о выборе вер. Оно говорит, что Владимир должен был выбирать из разных вер; язычество показало свою несостоятельность, нужно было переменить его на другую веру, и вот Владимир избирает из многих вер христианскую... Выбор из многих вер есть особенность русской истории: другим, западным народам, нельзя было выбирать из многих вер, им

НАМ ЗАПАД?

Владимир КАНТОР



можно было только переменить язычество на христианство. Но русское общество находилось на границах Европы и Азии; здесь, на этих границах, сталкивались не только разные народы, но и разные религии; следовательно, обществу в таких обстоятельствах должно было выбирать из разных вер».

Когда нынешние наши «князья и бояре» объявили, что они «выбирают капитализм», народ, кряхтя и охая, пошел за ними, потому что, несмотря на трудности, ему как идеал светит западная жизнь. Жизнь богатая, обильная, удобная и красивая. Надо сказать, что обращение к Византии поперек других стран тоже было связано с этим: Византия была богаче, пышнее, и ее богослужения своей роскошью произвели глубочайшее впечатление на русских послов. Не говорю уж о наиболее важных для тогдашней Руси торговых связях...

Но почему же тот давний поворот к Европе не включил наше отечество в ряд западных благоустроенных стран — с правами личности, свободой жизнеповедения и мысли, активного созидательного труда, трудовой этики?

К сожалению, история оказалась мачехой для Руси. Одно из самых могучих и процветающих государств средневековой Европы вдруг было сокрушено нашествием Степи. Татаро-монгольское завоевание стало самой грандиозной катастрофой в нашей исторической судьбе. Мы говорим об ущербе от второй мировой войны, подсчитываем, сколько жертв принес нам режим семидесятилетнего правления коммунистической партии (жертв не только физических, но и духовных — морального растления, формирования в людях шкурничества, приспособленчества, угодливости, несамостоятельности). Каково же было влияние на народ почти трехсотлетний татаро-монгольский ига!

Произшел своеобразный симбиоз завоевателей и завоеванных. Многие наши привычки, взгляды, типы поведения идут оттуда. Хотя бы взгляд на Западную Европу (от которой Степь резко отделила Русь) только как на объект грабежа, откровенного или завуалированного, как на мир не родственный, а чуждый. А степной произвол, сидящий не только в каждом нашем правителе, отмечающем чуждые ему юридические европейские нормы и стремящемся все сделать силою своей прихоти и волевого решения, но и в каждом из нас?!.. Привычка к покорству: любая власть от Бога. Интересно, что православная церковь была освобождена монголами от дани, ей были даны экономические привилегии, за что с амвонов провозглашались здравницы («Чингиз царь и первые цари, отцы наши, жаловали церковных людей, кои за них молились...») — говорится, например, в Ярлыке 1357 года). А в наше время совсем еще недавно церковь поддерживала КПСС и КГБ. Одна традиция. Впрочем, роль православной церкви всегда была двойственной: признавая только себя истинно христианской верой, проклиная «латинян» как еретиков, превратившись после падения Византии едва ли не в «племенную религию» (Чаадаев), православие в таком вот превращенном уродливом виде все же сохранило русский народ в качестве народа христианско-европейского, а не магометанского и не

языческого. И в этом его великая заслуга. Счастье для России, что она успела принять крещение до ига.

Если раньше главным врагом Руси была Степь, то теперь под влиянием Степи таким существенным, экзистенциальным врагом стал еще и Запад. С татарами боролись, они были реальным врагом. С их помощью крепла Москва, обратившая потом свою полученную под ханской сенью силу против самой Золотой Орды. Но в Западе видели врага едва ли не мистического, злокозненного, который пытается проникнуть и навредить не материально только, но и духовно, исказить святая святых Руси. Поэтому «еллинские и латинские борзости» были под особым запретом. Более того: европейское, «немецкое» трудолюбие и прилежание были высмеиваемы и презираемы за их мелочность, «бездуховность». Степь отучила наших предков трудиться на самих себя еще и тем, что вся земля по «монгольскому праву на землю» принадлежала хану (затем это же право было усвоено московским князем и распространено на всю Московскую Русь). Татарское иго было сломлено, внешний враг отброшен от границ государства. Москва перестала платить дань. Но осталась привычка к поборам — давать дань, взимать дань — с покоренных ли народов, со своих ли собственных жителей, которые тоже рассматривались как объект грабежа, как пленники и рабы собственного государства. Бесстыдная психология дикарей, варваров, не умеющих получать деньги за свой собственный труд.

Сегодня достаточно модна концепция, утверждающая, что Степь спасла нас от Европы, помешав западной экспансии в Россию (Л. Н. Гумилев). Но дело-то в том, что Киевская Русь сама была Европой и, не раз отражая попытки завоеваний с Запада, как раз не сумела противостоятъ Степи, приспособившись к ней. Святой князь Александр Невский разгромил шведов и немцев, но ездил на поклон в Золотую Орду. Ситуация символическая. И все же поклоны эти были вынужденными. Семьдесят лет нас приучали не любить Запад (патриотические организации и патриотические военные игры типа «Зарницы»), ибо он — потенциально-актуальный враг. И вдруг народ в свободном голосовании ринулся за жуликами-демократами, пообещавшими народу «открыть Запад».

Петровские реформы, возвращавшие стране на новом этапе прежний статус европейской державы, были не случайны. Несмотря на степные запреты, Россия продолжала ощущать себя европейской страной. Новой идеологии Петр не заимствовал, но православие, которое, «оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру» (Пушкин), заставил без околичностей, просто и прямо служить государству — чтоб не мешалось, не путалось под ногами в момент европеизации страны, не было препятствием в восстановлении полноценных контактов с далеко ушедшей вперед Западной Европой.

Возвратный шаг к Европе был сделан решительно. Петр всеми возможными способами закреплял новое российское мироощущение. При всей внешней нелепости, напоминающей порку деревянного Перуна по повелению князя Владимира, предпри-

нятые им символические перемены оказались весьма важными для русских людей, впервые после Киевской Руси почувствовавших себя участниками общеевропейского процесса, пусть пришедшими немного со стороны.

Послепетровская Россия европеизировалась все глубже и интенсивнее. Однако возникшее под сенью ханской власти самодержавное Российское государство не в состоянии было преодолеть само себя, европеизироваться до того, чтоб дать европейскую свободу своим подданным. И опять поминала с Запада мечта о райской сытной жизни. Именно оттуда пришла к нам новая идеология — марксизм, которая, казалось, поможет достичь реального единства с Европой: и там и тут победит новое учение и вся Европа сольется в едином порыве к идеальному обществу. Как когда-то Петр, большевики стали заменять всю прежнюю симво-

лику новой, поначалу ориентированной на всевропейский и мировой контекст, но с годами все более сужавшейся и дошедшей постепенно до имперского национализма. Стихия народной жизни оказалась не в меньшей степени, чем самодержавие, зараженной идеей «воли-произвола», а потому с железной необходимостью родила сталинизм — силу, способную произволом управлять.

Евразийцы в 20-е годы нынешнего века видели в империи большевиков возврат к империи Золотой Орды, возрождение ее. Сталин, кстати, апеллировал к наследию Московской Руси, к Ивану Грозному, то есть к Руси, ставшей правопреемницей Золотой Орды. Железный занавес, повешенный большевиками между Россией и Европой, был выражением все того же степного отторжения Руси от Запада.

Г. П. Федотов назвал сталинский режим ликви-



дацией марксизма. Желая Запада, народ не сумел его принять и освоить. Марксизм, победивший неожиданно в стране, как считал Маркс, ему наиболее неподходящей, вернулся на Запад русским учением, русской идеологией. Он был вполне русифицирован еще Лениным, а при Сталине уже сумели, по словам Федотова, «сочетать Маркса с Александром Невским», и дело было лишь за тем, «чтобы из триады национальных героев окончательно исключить Маркса и потеснить Пугачева в пользу Грозного».

То, что не удалось Сталину, проделала партийная элита последнего призыва. Самоубийственная политика идеологов горбачевского политбюро в известном смысле была прямым продолжением политики Сталина по русификации идеологии. Отказ от марксизма совпал с новым витком обращения к Западу, который тоже не принимал марксизм, хотя и по другой причине — видя в нем «русскую идею». Социальные и экономические причины якобы прозападной ориентации горбачевского правительства хорошо известны. За новую технологию надо было платить. Решили заплатить тем, что им самим мешало: остатками марксизма, который по самой своей сути был чужд партократическому паразитическому типу жизни. То есть хотели в очередной раз обмануть Запад. Вы нам технологию, а мы за это выкидываем на свалку давно опостылевший марксизм. Торг состоялся.

Но вместе с западной технологией открылся и западный образ жизни. И Россия опять захотела жить так же.

К развалу империи, надо заметить, привели скорее не западнические, а националистические идеи. Западнические требовали лишь экономической и личной свободы. Отдать Западу соцстраны — жест демократический или националистический? А прекращение войны в Афганистане? Ведь кричали же националисты, что все это обходится нам слишком дорого. Наконец, Россия потребовала суверенитета и отделилась от себя самой, развалила свою собственную державу, собиравшуюся столетиями. Еще К. Леонтьев, впрочем, назвал национализм орудием всемирного разрушения, имея в виду кризис империй.

Хитрецы партократы срочно реанимировали православие, чтобы иметь идеологию, с помощью которой можно управлять народом в изменившихся условиях. Но православие не способно ни удержать империю от развала, ни сохранить единство России, половина населения которой — иноверцы. Еще меньше, чем марксизм, православие способно и санкционировать контакты с Западом. В этом смысле невнятен и возврат к знаковой системе предреволюционной царской России. Ибо обе революции 1917 года с их отчаянной попыткой прорыва в западную жизнь были вызваны как раз стагнационными тенденциями русского самодержавия, настроенного националистически и шовинистически. Поэтому в Феврале мы — «самое свободное государство» в Европе, в Октябре — самое пролетарское и марксистское, а в этом смысле, как казалось, и более последовательное в осуществлении европейской мечты о коммунизме, чем сама Европа.

Сегодня народы России уже обрели идеологию. Это идеология западного быта, идеология потребления.

Пустой, казалось бы, пример: баночка с каким-нибудь западным продуктом. Употребив продукт там, баночку выбрасывают; употребив здесь, хозяйка оставляет ее украшением своей кухни. Потому что товары европейского ширпотреба для российского человека являются почти произведениями искусства, предметами чуть ли не религиозного поклонения.

Выходит, западная идеология потребления тоже русифицируется (как православие, как марксизм) путем такой вот культовой «утилизации» баночек? Отчасти так: пока у нас нет товаров, способных обеспечить эту идеологию, мы будем подбирать баночки. Но именно в этом и надежда: не будучи в состоянии русифицироваться до конца, эта идеология окажется постоянно действующим мостом, связывающим две части Европы — Западную и Восточную.

Могут сказать: это быт, грубые материальные интересы; а где же духовность? Но русская культура давным-давно связана с европейской. Не стали ли Шекспир и Бальзак, Бетховен и Гуно, Данте и Гете, Платон и Кант (перечисление может быть бесконечным) соучастниками духовных размышлений в России по крайней мере в последние два века?! Не забудем и того, что мы, как и европейцы, — христиане. На уровне духовной культуры контакт России с Европой состоялся, и он прочен.

Но поможет ли нам Запад приобщиться к его изобилию? И как он может помочь? Это, быть может, важнейшая сейчас для нас проблема. Ибо идеология найдена — инстинктивно, стихийно, но найдена. Однако идеология потребления предполагает упорный, каждодневный прилежный труд. Способны ли мы от паразитического степного восприятия Запада как объекта грабежа и дани (даваемой либо под угрозой, либо по нищенскому молению, тоже сопряженному с угрозой: попробуй не дать — мы развалимся и весь мир взорвем!) перейти к нормальному, равноправному контакту с ним? Для такого контакта необходимо проращивать в себе заглушенную веками рабства европейскую ментальность. Можно и так поставить вопрос: способны ли мы принять западную помощь? Ведь принять — это тоже надо уметь.

Мы мечтаем с помощью Запада сразу, вдруг захватить так же, как живут самые развитые страны. Надеемся, что нам построят «материально-техническую базу капитализма». А уж она потом сама заработает. Поэтому каждый, через чьи руки проходит западная помощь, устраивает для себя сразу «европейский рай» — иными словами, разворовывает все что можно, чтобы жить в окружении иностранных наклеек.

Дело не только в воровстве. Воруют везде. Дело в исходных посылах культуры. Чтобы осознать их разность и исполниться смирения, терпения и выдержки, предощущения долголетнего упорного труда, достаточно присмотреться к европейской провинции. Тогда станет ясно, что гуманитарной помощи нам недостаточно, технологии современной недостаточно, что нам нужно в с е.

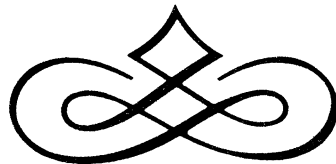
Полтора месяца я прожил в провинциальном немецком городке в Южной Баварии. В этом городке всего 14 тысяч жителей — подчеркиваю это. Но в нем есть университет, причем мирового класса, там учатся студенты со всего мира (библиотека в этом университете лучше, чем в МГУ). Есть своя газета на 24 страницы. Есть семинария, школы, больницы, десятки аптек (почти на каждой улице), около сотни разнообразнейших магазинов, не считая десятка супермаркетов. Больше дюжины церквей.

Говорят, что провинция определяет лицо страны. Здесь не чувствуешь, что ты в провинции. Связь с любой точкой страны мгновенна. Надо ли говорить, что весь городок заасфальтирован, грязи нет и в помине, машин много (очень много!), но воздух чистый: в самом городе и вокруг него много зелени. Машины ездят быстро, но уступают дорогу пешеходу, чувствующему себя спокойно — в отличие от москвича, который при переходе через шоссе бдителен, как индеец на тропе войны. Город

сохранил, кажется, все постройки средневековья, а новые здания по архитектуре гармонично сочетаются со старыми. Есть еще одно, что меня поразило почему-то больше всего: на улицах этого городка скульптур — и средневековых, и ренессансных, и барочных, и современных — больше, чем в целой Москве. Хотя криков о необходимости вынести искусство на улицы и площади городов больше всего было, кажется, именно в России.

Я, москвич, столичный житель, чувствовал себя в этом крошечном городке провинциалом...

Так поможет ли нам Запад? Надеяться, что благодаря западным посылкам или даже инвестициям мы вдруг станем жить так, как живут там, нелепо. Рывком, сразу и вдруг ничего не получится. Надо принимать Запад за некий ориентир, а не за ближайшую достижимую цель. И помнить, что у нас была своя история и исходить мы должны из своих возможностей. Только так Россия вернется в Европу и закрепится там, осуществив свое многовековое стремление...



СОЛО — потомок «Метрополя». Единственный в стране литературный журнал, полностью посвященный неизвестным талантам, которым так же трудно пробиться в условиях рынка, как и в условиях сплошной идеологизации.

СОЛО — это уникальный, с первого звука узнаваемый голос автора!

*Вам надоела дезориентация нашего смутного времени,
вы хотите открыть журнал, прочесть рассказ и выпучить глаза,
поразившись самостоятельности и неповторимости неизвестного вам
автора — тогда возьмите СОЛО!*

СОЛО — это проба безупречного вкуса!
**Если вы хотите узнать не только настоящее, но и будущее
литературы — читайте СОЛО!**

*Желающим получить журнал СОЛО (издается с 1990 года, шесть выпусков в год)
необходимо перевести 7 рублей за каждый номер почтовым переводом
(организации могут оплатить платежным поручением)
на р/с производственно-коммерческого центра АЮРВЕДА — № 4461632
в Бауманском отд. ЖСБ г. Москвы, МФО 201359.*

*В графе «Для письменного сообщения»
(в платежном поручении — «Назначение платежа») указать: «За журнал СОЛО,
№№...», затем выслать квитанцию об оплате с указанием номеров и количества
экземпляров, а также подробного адреса и фамилии получателя по адресу:*

**109652, Москва, ул. Подольская, 25, кв. 212. СОЛО.
Телефон для справок в Москве: 925-54-85.**

КОГДА БЫЛ

Тимур
КИБИРОВ



ЛЕНИН

МАЛЕНЬКИМ

ОТ АВТОРА

В 1984 году поэт Денис Новиков, зная мое пристрастие к советскому ретро, подарил мне книжку «Детские и школьные годы Ильича» 1947 года издания, с замечательными картинками. Поэма, которую я наконец отдаю на суд читателя, родилась из многомесячного любования этой удивительной книжкой.

К сожалению, в теперешней социокультурной ситуации этот текст в сознании читателя сливается с разлитым морем советской юмористики, которая, забыв своих традиционных героев — продавцов и сантехников, ныне с беззаветной смелостью высмеивает генсеков несуществующей партии. Я готов смириться с подобной интерпретацией моего текста, однако в глубине души надеюсь, что моя поэма выходит за рамки запоздалой социальной критики и имеет пусть скромные, но чисто поэтические достоинства. Должен признаться, что я до сих пор люблю это незатейливое произведение, хотя давно уже не эксплуатирую такого рода темы и поэтику. В свое время этот текст доставил мне (и, надеюсь, слушателям) немало приятных минут на разных неофициальных и полуофициальных поэтических чтениях.

Как честный человек не могу умолчать и о негативных отзывах в прессе. После нашего с Лево́й Рубинштейном выступления в Риге в 1989 году газета «Советская молодежь» опубликовала отзыв некоего журналиста А. Гараняна, который впечатления от поэмы «Когда был Ленин маленьким» выразил так: «Врачи утверждают, что отсутствие стыда — признак психического расстройства. Пожалеть бы такого расстроенного. Но столичный пиит вызывал не жалость, а брезгливость и отвращение. Захлебываясь от обилия гласности и свободы, он начал беззастенчиво насмехаться над святым для каждого из нас именем». Думаю, что теперь моя поэма уже не может вызвать столь бурные эмоции. И слава Богу.

I

Отец Владимира Ильича, Илья Николаевич, был тогда инспектором народных училищ Симбирской губернии. Он происходил из простого звания, рано лишился отца и лишь при помощи старшего брата с трудом получил образование...

Мать Владимира Ильича, Мария Александровна, была дочерью врача; большую часть юности она провела в деревне, где крестьяне очень любили ее. Она была хорошей музыкантшей, хорошо знала музыку и языки — французский, немецкий и английский...

А. И. Ульянова, «Детские и школьные годы Ильича» (Детгиз. 1947, стр.4).

Я часто думаю о том, как... Право, странно
представить это. Но ведь это было!
Ведь иначе бы он не смог родиться!
И значит, хоть смириться с этим разум
никак не может, но для появления

встреча с поэтом

его, для написания «Что делать?»
и «Трех источников марксизма», для «Авроры»,
для плана ГОЭЛРО, для лунохода
и для атомохода, для всего —
сперматозоид должен был проникнуть
(хотя б один) в детородящий орган
Марии Александровны... Как странно...

Я представляю домик их в Симбирске.
Год 69-й. Синий сумрак.
Инспектор в кабинете. Свет уютный
настойной лампы освещает лоб
сократовский. Перо скребет бумагу...
Но тут из отдаленных комнат тихо
мелодия внезапно зазвучала —



такой безмерной нежностью, такую небесной, вечной, женственною грустью... И сладкая мечтательность сковала мозг деятельный. И рука застыла, не дописав... Он лампу потушил, встал и пошел на цыпочках... В гостиной, не зажигая света, за роялем сидела Марья Александровна... Невольно залюбовавшись стройным и печальным на фоне окон женским силуэтом, Илья в дверях замешкался... Минуты летели. И мелодия росла тоскою, и любовью несказанной, и обещаньем счастья, и рыданьем... И наконец он кашлянул. «Ой, милый! Ах, как ты напугал меня!»—«Мария! — от нежности охрипшим басом начал инспектор. — Поздно! Спать пора, Мария!» И было что-то в голосе его, что Марья Александровна зарделась. «Ах, милый, что ты...»— «Машенька, пойдем! Пойдем, ведь поздно, ну пойдем, Масюся!..»

Я думаю, она была фригидной. Или почти фригидною. И пламень инспекторский делила поневоле, не сразу, а потом уже, обвинив руками нежными и нежными ногами могучий торс инспектора училищ, Ильи, Илюшечки, Илюшечки... Илюши!



II

Ходить он начал одновременно с сестрой Олей, которая была на полтора года моложе его. Она начала ходить очень рано и как-то незаметно для окружающих. Володя, наоборот, выучился ходить поздно, и если сестренка его падала неслышно — «шлепалась», по выражению няни, — и поднималась, упираясь ручонками в пол, самостоятельно, то он хлопался обязательно головой и поднимал отчаянный рев на весь дом. Вероятно, голова его перевешивала. Все сбегались к нему, и мать боялась, что он серьезно разобьет себе голову или будет дурачком. А знакомые, жившие на нижнем этаже, говорили, что они всегда слышат, как Володя головой об пол хлопается. «И мы говорим: либо очень умный, либо очень глупый он у них вырастет»¹.

А. И. Ульянова, «Детские и школьные годы Ильича» (стр.4—5).

Читатель мой! Я, право, и не знаю, что тут сказать... Конечно, можно б было... Но лучше не пытаться. Ум Евклидов напрасно тщится размотать клубок причинно-следственной неумолимой связи. Не будем же гадать. Склонимся молча пред тайнами великими, пред странной игрою сил надмирных...

¹ К сожалению, уже в издании 1962 года эти строки отсутствуют.

III

Игрушками он мало играл, больше ломал их. Так как мы, старшие, старались удержать его от этого, то он иногда прятался от нас. Помню, как раз в день его рождения, он, получив в подарок от няни запряженную в сани тройку лошадей из папье-маше, куда-то подозрительно скрылся с новой игрушкой. Мы стали искать его и обнаружили за одной дверью. Он стоял тихо и сосредоточенно крутил ноги лошади, пока они не отвалились одна за другой.

А. И. Ульянова, «Детские и школьные годы Ильича» (стр.6).

Ах, Годунов-Чердынцев, полюбуйся,
с какой базарною настойчивостью муза
истории российской предлагает
сестрице неразборчивой своей,
столь падкой на дешевку Каллиопе,
свои аляповатые поделки.

Ах, тройка, птица-тройка! Кто тебя
такую выдумал? Куда ты мчалась, тройка?
То смехом заливался колокольчик,
то плачем, и ревел разбойный ветер,
шарахались и в страхе столбенели
языки чуждые, и кнут свистел, играя.

А немец-перец-колбаса с линейкой
логарифмической смотрел в окно вагона
недоуменно... Эх ты, птица-тройка!
Куда ж неслась ты, Господи спаси?
И не было ответа. И не будет
уже. Кудрявый мальчик яснолобый
последнюю откручивает ножку.
Нет, мы пойдем другим путем! Как странно...
Не лучше ль было ехать в пироскафе?
Иль в пароходе — в чистом поле, все быстрее,
чтоб ликовал народ и веселился весь.



IV

Любил маленький Володя ловить птичек, ставил с товарищами на них ловушки. В клетке у него был как-то, помню, реполов. Не знаю, поймал ли он его, купил или кто-нибудь подарил ему, помню только, что жил реполов недолго, стал скучен, нахохлился и умер. Не знаю уж, отчего это случилось, был ли Володя виноват в том, что забывал кормить птичку, или нет. Помню только, что кто-то упрекал его в этом, и помню серьезное, сосредоточенное выражение, с которым он поглядел на мертвого реполова, а потом сказал решительно: «Никогда больше не буду птиц в клетке держать». И больше он действительно не держал их.

А. И. Ульянова, «Детские и школьные годы Ильича» (стр.18).

Лети же в сонм теней, малютка реполэв,
куда слепая ласточка вернулась,
туда, где вьются голуби Киприды,
где Лесбии воробушек, где Сокол
израненный приветствует полет
братишки Буревестника, где страшный
убитый альбатрос сурово мстит
английскому матросу, где в отместку

французские матросы на другом
таком же альбатросе отыгрались,
где чайку дробью дачник уложил,
где соловей над розой, где снегирь
заводит песнь военну, где и чибис
уже поет юннатам у дороги
и где на ветке скворушка, где ворон
то к ворону летит, то в час полночный
к безумному Эдгару, где меж небом
и русскою землею льется пенье,
где хочут жить цыпленки, где слышать
малиновки ты сможешь голосок,
где безымянной птичке дал свободу,
храня обычай старины, певец,
где ряба курочка, где вьется Гальциона
над батюшковским парусом, где свищет
во тьме ночей и ропщет Филомела,
где птица счастья выберет тебя,
где выше солнца подлетел орленок
и где слепая ласточка, слепая...

Лети туда, малютка реполов,
ты заслужил бессмертие. Лети же!

V

Бегал он и рыбу ловить на Свягу (речка в Симбирске), и один его товарищ рассказывает о следующем случае. Предложил им кто-то ловить рыбу в большой, наполненной водой канаве поблизости, сказав, что там хорошо ловятся караси. Они пошли, но, склонившись над водою, Володя свалился в канаву; илистое дно стало засасывать его. «Не знаю, что бы вышло,— рассказывает этот товарищ,— если бы на наши крики не прибежал рабочий с завода на берегу реки и не вытащил Володю».

А. И. Ульянова, «Детские и школьные годы Ильича» (стр. 19).

Рука Рабочего Отечество спасла.
Что там ни говори эсдеки, а без роли
такой вот личности в истории все было б
иначе. Ведь уже была готова
Россия-мать на рельсы соскользнуть
буржуйские — и так бы и пошла!
По плоскости наклонной, так сказать,
по этому порочному пути
сопротивленья наименьшего. Искала б
себе, наверно, легкие пути
и загнивала б. Ах, как загнивала б!
И до сих пор бы ели ананас
и рябчиков жевали бы, и вряд ли
когда-либо прорыли б Беломор.
И с проституцией навряд ли совладали б.
И безнаказанно бы жил себе Кровавый
царь Николай с супругой и детьми.
А ум, и честь, и совесть продолжали б
томиться в Шушенском! И наш Серафимович
глумленью подвергался бы циничных,
растленных модернистов. И, ей-богу,
пришлось бы Евтушенко выступать
в одесских кабаках... Подумать страшно!

А вот еще о чем подумать страшно,
но интересно — если б не рабочий
из ила вытащил его, а, предположим,
мужик? Мужик Марей или Платон?

А вдруг бы полюбил он, наш Ильич,
смиреномудрие и богоносность люда
сермяжного? И опростился б он,
и в нищем виде исходил бы он Россию,
благословляя? Ах, как это странно...
Или представь, что там купчина рыжий
в бобровой шапке проходил бы? Или стройный
какой-нибудь корнет? Или в тужурке
студенческой какой-нибудь сынок
поповский? Словом, кто-нибудь из этих,
из своры псов и палачей? И стал бы
тогда бы наш Володенька кадетом.
И не был бы весны цветеньем он,
победы кличем... Ах, как это странно.
Как странно это все, если подумать.

1984.



ФРАНЦ КАФКА БЛЮМФЕЛЬД, ПОЖИЛОЙ ХОЛОСТЯК

Вечером Блюмфельд, пожилой холостяк, поднимался по лестнице в свою квартиру, и поскольку он жил на шестом этаже, это было делом нелегким. Преодолевая ступеньку за ступенькой, он думал, в последнее время эта мысль часто его посещала, что жить в полном одиночестве довольно тягостно, сейчас он вот словно втайне от всего мира должен карабкаться на шестой этаж, чтобы, добравшись до своих пустых комнат, облачиться, опять же как бы втайне от всех, в шлафрок, закурить трубку, полистать, понемножку потягивая вишневую наливку собственного изготовления, французский журнал,

который он выписывает много лет подряд, и по прошествии получаса отправиться наконец в постель, перед тем, правда, полностью перестелив ее, поскольку не поддающаяся никакому обучению служанка делает это весьма небрежно. Нет, Блюмфельд был бы не против, чтобы какой-нибудь зритель или спутник наблюдал за течением его жизни. Он даже подумывал, не завести ли маленькую собачку. Ведь это веселое, а главное, благодарное и верное животное; у одного коллеги есть такой песик, и он ходит по пятам за своим хозяином, если же расстался с ним на несколько минут, то приветствует его появление громким лаем, выражая таким способом радость по поводу встречи со своим господином, обожаемым благодетелем. Но у собаки имеются и недостатки. В какой чистоте ни содержи ее, все же в комнате от собаки грязь. Избегать этого никак нельзя, ведь не будешь всякий раз, возвращаясь с улицы, мыть собаку в горячей ванне, это вредно для ее здоровья. Блюмфельд же не выносит даже намека на грязь в комнате, чистота для него нечто обязательное, и он по несколько раз на неделе ссорится из-за этого со своей не





слишком аккуратной служанкой. Та немного глуховата, и он просто-напросто берет ее за руку и подводит к тем местам, где уборка проведена недостаточно тщательно.

Таковыми строгостями он все же добился того, что порядок в комнате хоть приблизительно отвечал его представлениям. Взять собаку значило добровольно мириться с грязью, против которой всю жизнь он вел упорную борьбу. Заведутся блохи, эти постоянные спутники собак. А уж если блохи, то недалек и тот день, когда Блюмфельду придется оставить свою уютную комнату псу, а самому искать другую квартиру. Но грязь — это отнюдь не единственный собачий недостаток. Они еще и болеют, и в их болезнях никто, по существу, ничего не смыслит. Забилось животное в угол и смотрит грустными глазами или начинает вдруг хромать или скулить, кашлять, корчиться от боли, пса заворачивают в одеяло, ласкают, поят молоком, в общем, выхаживают как могут, надеясь, что он — и это вполне вероятно — скоро поправится; но ведь болезнь может оказаться серьезной, гадкой и заразной. А если собака и здорова, она ведь когда-нибудь состарится, решиться же своевременно сбить верного друга с рук тяжело, и вот наступает время, когда твой собственный возраст смотрит на тебя из слезящихся собачьих глаз. И приходится мучиться с полуслепым, слабым, от ожирения еле передвигающимся животным и таким образом дорого платить за радости, которые когда-то доставляла вам собака. Нет, как бы ни хотелось сейчас Блюмфельду иметь собаку, все же лучше еще тридцать лет в одиночестве взбираться по лестнице, чем мучиться с состарившейся собакой, которая будет ползти со ступеньки на ступеньку, вздыхая громче хозяина.

Значит, Блюмфельд останется один, он же не какая-нибудь старая дева с разными причудами, которой лишь бы иметь рядом живое существо, нуждающееся в ее защите, чтобы было на кого изливать свою нежность, за кем ухаживать; для этой роли достаточно кошки или канарейки какой-нибудь, даже золотых рыбок. В крайнем случае можно обойтись цветами на окне. Блюмфельд же согласен только на пса, чтобы о нем можно было не слишком заботиться, иногда и пинка дать, выгнать ночевать на улицу, но когда Блюмфельд пожелает, пес будет тут как тут — лаять, прыгать, лизать руки. Вот что нужно Блюмфельду, но он отдает себе в этом отчет — издержки слишком велики, — потому и отказывается от собаки; однако в силу основательности характера он периодически возвращается к этой мысли, как, например, сегодня вечером.

Когда Блюмфельд, добравшись наконец до своих дверей, лезет в карман за ключом, до него вдруг доносится шум, идущий из комнаты. Станный клацающий звук, живой и равномерный. И поскольку Блюмфельд только сейчас думал о собаке, звук этот напоминает ему стук собачьих когтей по полу. Нет, когти так не стучат, это не когти. Блюмфельд торопливо отпирает дверь и включает свет. То, что он видит, полнейшая для него неожиданность. Просто какое-то наваждение: два маленьких, белых в синюю полоску, целлулоид-

ных шарика прыгают на паркете; когда один на полу, другой в воздухе, и эту игру они продолжают без усталости. Однажды, еще в гимназии, Блюмфельд во время демонстрации известного эксперимента с электричеством видел вот так же прыгавшие шарики, но эти гораздо больше, к тому же прыгают они по комнате, где никакого эксперимента не проводится. Блюмфельд наклоняется, чтобы получше их рассмотреть. Сомнений нет, самые обыкновенные шары, только внутри у них, похоже, еще несколько маленьких — они-то и издают клацающий звук. Блюмфельд хватается руками воздух, желая проверить, не идут ли к ним какие-нибудь ниточки, но нет, шары движутся совершенно самостоятельно. Жаль, был бы Блюмфельд маленьким мальчиком, он бы очень обрадовался такому сюрпризу, сейчас же все это производит на него скорее неприятное впечатление. Ведь, в сущности, это совсем неплохо — жить незаметным холостяком, втайне от мира, и вот кто-то, не важно кто, проникает в эту тайну и посылает два смешных шарика.

Блюмфельд делает попытку поймать шарик, но они оба отпрыгивают в сторону и как бы манят его за собой. Это уж совсем глупо, решает он, гоняться вот так за шарами, он останавливается и смотрит на них. И они, поскольку преследование вроде бы прекратилось, тоже начинают, как раньше, прыгать на одном месте. Надо все-таки поймать их, думает он и снова торопится схватить их. Шарик тотчас убегают, но Блюмфельд, расставив ноги, загоняет их в угол комнаты, где стоит чемодан; и там ему все-таки удастся поймать один шарик. Этот маленький и очень храбрый шарик — он вертится в руке, явно норовя ударить. А другой шарик, видя, что товарищ попал в беду, начинает прыгать все выше, постепенно увеличивая амплитуду, пока наконец не достает руки Блюмфельда. Он стучается об руку и все убыстряет свои прыжки, потом, поскольку с рукой, которая захватила шарик, сделать ничего не удастся, он меняет объекты нападения и начинает прыгать еще выше, метя Блюмфельду в лицо. Блюмфельд мог бы и его поймать, как первый, и где-нибудь обоих запереть, но ему кажется недостойным применять столь brutальные методы против двух маленьких шариков. В конце концов, это даже забавно — иметь у себя такую парочку, к тому же они, вероятно, скоро устанут, закатятся под шкаф, и наступит наконец покой. Вопреки этим своим рассуждениям Блюмфельд в раздражении что есть силы швыряет шарик об пол, но чудо — хрупкая, почти прозрачная целлулоидная оболочка остается невредимой, и оба шарика тотчас без перехода начинают свои согласованные невысокие прыжки.

Блюмфельд спокойно раздевается, аккуратно вешает одежду в шкаф и, как всегда, проверяет, оставила ли прислуга там все в надлежащем порядке. Раз или два он через плечо бросает взгляд на шарики, которые теперь, когда он перестал их преследовать, кажется, сами начали преследовать его, они прискакали к шкафу и прыгают прямо у него за спиной. Блюмфельд надевает шлафрок, теперь он должен пересечь комнату, чтобы взять трубку,

они помещаются там в специальной подставке. Не оборачиваясь, он непроизвольно делает удар ногой, но шарики ловко уворачиваются, попасть по ним не так просто. Блюмфельд направляется за трубкой, и шарики тотчас к нему пристраиваются, он громко шаркает домашними тапочками, нарочно сбивает шаг, но за каждым его движением следует почти без паузы стук шариков, они успевают подладиться к нему. Блюмфельд неожиданно резко поворачивается, ему интересно, как с этим справятся шарики. Но они мгновенно описывают полукруг и уже снова стучат за его спиной, и так несколько раз, вслед за ним они повторяют этот маневр. Как подчиненные, сопровождающие патрона, они все делают, чтобы не оказаться перед Блюмфельдом. Вероятно, вначале они осмелились немного попрыгать перед ним, но только чтобы представиться, теперь же они заступили на службу.

До сих пор, если случалось нечто экстраординарное и Блюмфельд был не в состоянии овладеть ситуацией, он прибегал к испытанному средству — делал вид, что ничего не происходит. Иногда это помогало или, на худой конец, давало временное облегчение. Вот и теперь, выпятив губы, Блюмфельд не спеша выбирает трубку и с особой тщательностью набивает ее табаком из лежащего тут же кисета, позволяя шарикам спокойно прыгать у себя за спиной. Однако набраться решимости и двинуться к столу он никак не может, этот звук, как они прыгают в такт его шагам, кажется ему почти что непереносимым. Блюмфельд тянет, никак не может кончить набивать трубку и все прикидывает на глаз расстояние, которое отделяет его от стола. Но вот Блюмфельд берет себя в руки и шагает с таким грохотом, что шарики не слышны вовсе. Но едва он усаживается, они уже тут как тут, прыгают за креслом с тем же отчетливым стуком, что и прежде.

Над столом на расстоянии вытянутой руки висит полка, где в окружении маленьких рюмочек стоит бутылка с вишневым наливкой. Рядом стопка французских журналов. Сегодня как раз пришел свежий номер, и Блюмфельд берет его в руки. Про наливку он даже не вспоминает, у него такое чувство, что сегодня все эти привычные занятия нужны ему лишь для развлечения, на самом деле и читать Блюмфельду тоже не хочется. Он раскрывает журнал наугад, хотя в силу многолетней привычки неизменно просматривает его аккуратно страницу за страницей, и натывается на большую, во весь лист картину. С трудом он заставляет себя сосредоточить на ней внимание. Там изображена встреча российского императора с французским президентом. Дело происходит на корабле. До самого горизонта видны силуэты еще множества других кораблей, дым из труб тает на фоне светлого неба. Оба, император и президент, спешат навстречу друг другу, шаг у обоих широкий, руки только что объединились в рукопожатии. Чуть отступая, за императором следуют двое из свиты, и президента тоже сопровождают два человека. По сравнению с радостными лицами императора и президента лица спутников поражают серьезно-

стью, глаза смотрят в глаза. А далеко внизу, встреча происходит на самой верхней палубе корабля, застыли обрезанные краем фотографии длинные ряды матросов. Блюмфельд вглядывается в картинку со все большим интересом, отставляет ее подальше на вытянутых руках, щурит глаза. Ему всегда нравились парадные сцены. А как естественно, сердечно, с каким изяществом главные действующие лица пожимают друг другу руки; все это он находит весьма правдивым. Да и спутники — особы, конечно же, высокопоставленные, имена их перечислены под картиной — с какой правдивостью запечатлена в их позах серьезность исторического момента.

Вместо того чтобы достать с полки все, что необходимо, Блюмфельд сидит неподвижно, устремив взгляд на до сих пор не зажженную трубку. Он весь в напряжении, внезапно сбрасывает оцепенение и рывком поворачивается вместе с креслом. Но шарики тоже не дремлют, их движение подчиняется какому-то неизвестному закону, одновременно с Блюмфельдом они перемещаются на новое место и прячутся за его спиной. Теперь Блюмфельд сидит спиной к столу, в руке все та же незажженная трубка. Шарики устроились под столом, и поскольку там лежит ковер, прыжки не так слышны. Это большое достижение; звук сейчас совсем слабый, глухой, и нужно очень внимательно прислушиваться, чтобы его уловить. Но Блюмфельд слышит их прекрасно, все его внимание приковано к шарикам. Теперь появилась надежда, что скоро он их уже больше не услышит. То, что на ковре они производят так мало шума, кажется Блюмфельду большой слабостью шариков. Просто нужно подсушить им ковер, лучше два, и они уже почти бесшумны. Но конечно, это только временная мера — само существование шариков намекало на некую власть.

Вот когда Блюмфельду пригодилась бы собака, молодой веселый зверь быстро справился бы с шариками; он представляет себе, как пес гоняется за ними, сшибает их лапами, катает по комнате, и вот они уже у него в пасти. Не исключено все же, что Блюмфельд в ближайшее время заведет себе собаку.

Пока же шарикам следует опасаться одного только Блюмфельда, а у него нет сейчас настроения заниматься их уничтожением, хотя, возможно, это от недостатка решительности. Человек пришел с работы усталый, для него сейчас главное — покой. И надо же — такой сюрприз. Только теперь Блюмфельд чувствует, как устал. Конечно, он покончит с этими шариками, и в самое ближайшее время, но только не сейчас, скорее всего завтра. Впрочем, если сохранять объективность, шарики ведут себя вполне прилично. Они, например, могли бы время от времени выпрыгивать вперед, показывать ему и прятаться назад на свое место, могли бы прыгать выше, стучать о крышку стола, компенсируя таким образом ущерб от заглушающего действия ковра. Но они этого не делают, не хотят излишне раздражать Блюмфельда, они явно ограничивают свои действия самым необходимым.

Однако и этого достаточно, чтобы отравить Блюмфельду вечер. Выдержав несколько минут такого сидения, он подумывает, не пойти ли спать. Дело еще и в том, что здесь он не может закурить, так как оставил спички на ночном столике. Значит, надо вставать, брать спички, но если уж он доберется до ночного столика, то не лучше ли остаться там и лечь в постель. Есть и еще одна тайная мысль, он надеется, что шарики, слепо подчиняясь закону, предписывающему им держаться у него за спиной, прыгнут на кровать, и когда он будет ложиться, то волей-неволей раздавит их. Мысль, что обломки шариков тоже могут прыгать, он отбрасывает. И сверхъестественное должно иметь какие-то границы. Целые шарики прыгают и в обычной жизни. Правда, не бесконечно, а вот обломки не прыгают никогда, значит, и здесь не должны.

— Пошли! — приглашает Блюмфельд, эти рассуждения привели его чуть ли не в озорное настроение, и с шариками за спиной он направляется к своей кровати.

Надежды его, похоже, сбываются, потому что, как только он нарочно вплотную подходит к кровати, один шарик тотчас вспрыгивает на нее. Но далее происходит нечто неожиданное: второй шарик забирается под кровать. Того, что шарики могут прыгать и под кровать, Блюмфельд никак не ожидал. Он возмущен поведением второго, хотя и понимает, что несправедлив к нему; прыгая под кроватью, шарик, возможно, выполняет свою задачу даже лучше, чем тот, что наверху. Теперь самое главное — где они в конце концов окажутся. Блюмфельд не верит, что они смогут долго существовать раздельно. И действительно, через несколько секунд нижний шарик тоже вспрыгивает на кровать. Ну теперь они попались. Окрыленный Блюмфельд сбрасывает шлафрок и собирается броситься в постель. Но второй шар неожиданно прыгает снова под кровать. Разочарование слишком велико. Блюмфельд сразу скидает. Вероятно, шарик вылез наверх, только чтобы осмотреться, и ему там не понравилось. Теперь вот второй за ним последовал и, конечно, тоже останется внизу — там ведь гораздо лучше. Ну теперь эти барабанщики будут прыгать подо мной всю ночь, — сжав зубы, Блюмфельд сокрушенно качает головой.

Ему становится нестерпимо грустно, хотя чем это шарики могут ночью ему помешать, честно говоря, он не знает. Сон у него превосходный, и столь слабые звуки его не в состоянии нарушить. Но чтобы быть совершенно спокойным, он берет два коврика, в соответствии с уже приобретенным опытом подсовывает их под кровать. Как будто у него там маленькая собачка и он старается, чтобы ей было помягче. Шарыки, видимо, тоже устали и хотят спать, прыжки их постепенно затихают. Блюмфельд становится перед кроватью на колени и светит вниз ночником, мгновенными ему кажется, что шарики просто лежат на ковре, так медленно и лениво они движутся. Вот они снова начинают подниматься, как им и положено. Не исключено, что, заглянув рано утром под кровать, Блюмфельд

обнаружит просто два тихих, невинных детских шарика.

Но они даже и до утра не дотягивают, стоит только Блюмфельду улечься в постель, и он их уже больше не слышит. Он напряженно вслушивается, даже свешивается с кровати — ни звука. Вряд ли это коврики дали такой сильный эффект, единственное объяснение — шарики больше не прыгают. Либо у них не получается оттолкнуться как следует от мягкой поверхности, и потому шарики временно прекратили прыжки, либо, что более вероятно, они уже никогда больше не будут прыгать. Можно, конечно, встать и посмотреть, как они себя поведут, но довольный тем, что наконец наступила тишина, Блюмфельд остается в постели; он не хочет даже взглядом беспокоить затихшие шарики. Решив, что на сегодня он легко может отказаться от трубки, Блюмфельд мгновенно засыпает.

Однако ж в покое его не оставляют, и хоть спит он, как обычно, без сновидений, сном это не назовешь. Каждую минуту ему кажется, что кто-то стучит в дверь. Он знает точно, на самом деле никто к нему не стучит, да и кто станет ночью беспокоить одинокого холостяка. И все же каждый раз он вскакивает и несколько секунд смотрит на дверь — рот раскрыт, глаза выпучены, на влажном лбу слипшиеся пряди волос. Блюмфельд пробует считать, сколько раз его так разбудили, но раздавленный чудовищной цифрой, которая у него получается, впадает в беспамятство и в какой уже раз снова проваливается в сон. Ему кажется, что он знает, откуда доносится этот стук, что дверь тут ни при чем, стучат где-то совсем в другом месте, но, охваченный сном, он никак не может вспомнить, на чем основывается это знание. Несомненно одно: прежде чем рождается сильный стук, сначала где-то скапливается множество отвратительных крошечных ударчиков. Их бы он еще вытерпел, эту мерзкую дробь, если бы можно было избежать стука, но слишком поздно, он уже бессилен что-либо изменить, время упущено, теперь ему только и остается что зевать. Блюмфельд даже слова произнести не в состоянии, в ярости он зарывается лицом в подушки. Так проходит ночь.

Утром его будит стук в дверь, явилась служанка, этот робкий стук Блюмфельд встречает вздохом облегчения, а ведь прежде он постоянно жаловался, что услышать ее невозможно; он уже собирается крикнуть: войдите! — как слышит другой, хоть и слабый, но вполне воинственный стук. Это шарики под кроватью. Неужели они проснулись, неужели всю ночь, в отличие от него, только копили силы?

— Одну минуту! — кричит Блюмфельд служанке, вскакивает с постели, но делает это с оглядкой, так, чтобы шарики оставались у него сзади. Держась по-прежнему к ним спиной, он ложится на пол, повернув набок голову, заглядывает под кровать и едва сдерживается от ругательства. Как дети, которые во сне сбрасывают мешающее им одеяло, шарики своими мелкими, не прекращавшимися всю ночь прыжками сдвинули коврики и снова освободили для себя паркет, чтобы стучать, как и раньше. — А ну быстро на

коврик, — зло бросает Блюмфельд, и только когда шарики, попав на ковер, снова затихают, выпускает служанку.

И пока эта толстая, тупая, с негнущейся спиной женщина ставит на стол завтрак, тратя на это отмеренное количество движений, Блюмфельд в шлафроке неподвижно стоит у кровати, чтобы удержать шарики внизу. Глаза его устремлены на служанку — не заметила ли она чего-нибудь. При ее глухоте это весьма маловероятно, и все-таки ему кажется, что старуха специально так долго копается, натывает на мебель, то и дело прислушивается, высоко поднимая брови. Но он решает, что это надо отнести за счет его раздраженного состояния, естественного после бессонной ночи; сегодня она поворачивается даже медленнее обычного, не спеша собирает одежду Блюмфельда, сапоги и выносит из комнаты в коридор. Долго не показывается, слышны лишь равномерные звуки щетки, которой она чистит одежду. И все это время Блюмфельд вынужден сидеть на постели, он не может сдвинуться с места, если не хочет потянуть за собой шары; кофе, который он так любит пить горячим, остывает, ему остается только смотреть на спущенные шторы, за которыми начинается серый день. Наконец служанка закончила, она желает ему доброго утра и собирается уходить. Но перед тем как удалиться окончательно, она задерживается у дверей, жуёт губы, бросает на Блюмфельда долгие взгляды. Блюмфельд хочет спросить, в чем дело, но тут служанка наконец-то исчезает. Больше всего на свете Блюмфельду сейчас бы хотелось распахнуть дверь и крикнуть ей вслед, какая она глупая, старая и тупая баба. Но когда он спрашивает себя, чем же все-таки она виновата, в голову приходит только одно — она наверняка ничего не заметила, но зачем-то делала вид, что заметила. Как же путаются его мысли! И это только после одной бессонной ночи! Плохому же сну он видит объяснение в том, что вчера вечером отступил от своих привычек, не курил трубку, не пил наливки. Значит, когда я не курю и не пью, то плохо сплю — такой результат его размышлений.

Теперь Блюмфельд будет больше заботиться о своем самочувствии, и он начинает с того, что тянется к домашней аптечке, которая висит над ночным столиком, достает вату и двумя шариками затыкает себе уши.

После этого он поднимается и делает пробный шаг. Шарики следуют за ним, но он их почти не слышит, еще немного ваты — и звук исчезает вовсе. Блюмфельд делает еще несколько шагов, все идет пока гладко. Блюмфельд сам по себе, шары сами по себе, они хоть и привязаны друг к другу, но каждый живет своей жизнью. Только однажды, когда он резко поворачивается и шарик не успевает сделать ответное движение, Блюмфельд задевает его коленом. Но это единственный инцидент. Блюмфельд спокойно допивает свой кофе, он проголодался, словно этой ночью не лежал в своей постели, а преодолел пешком большое расстояние; умывается холодной, дающей удивительную бод-

рость водой и одевается. Он не поднимает шторы, предпочитая оставаться в полутьме, его шарики не для чужих глаз. Блюмфельду уже пора выходить, но ему надо как-то позаботиться о шариках на тот случай, если они осмелятся — он, правда, в это не верит — отправиться следом за ним и на улицу. В голову приходит хорошая идея, он открывает большой платяной шкаф и становится к нему спиной. Но шарики словно почуяли, что им уютно, они не хотят прыгать в шкаф, используют малейшее пространство между ними и Блюмфельдом, запрыгивают, когда ничего другого не остается, на минутку в шкаф, но тотчас снова выскакивают из темноты наружу, никак их не удастся туда заманить, похоже, они скорее готовы нарушить свое правило и начать прыгать сбоку от Блюмфельда. Но эти маленькие хитрости им не помогут, Блюмфельд теперь сам лезет в шкаф, и им поневоле приходится следовать за ним, теперь им не позавидуешь, потому что низ шкафа заполнен разными мелкими предметами: сапогами, картонками, маленькими саквояжами, — правда, порядок у него там, о чем теперь Блюмфельд не может не пожалеть, образцовый, но все же это очень затрудняет передвижение. Между тем Блюмфельд, забравшись в шкаф, почти полностью закрывает за собой дверцу и вдруг большим прыжком, какого он, вероятно, не совершал уже почти многие годы, выскакивает наружу, захлопывает дверцу и поворачивает ключ. Шарики пойманы. Это было ловко проделано, думает Блюмфельд, вытирая пот со лба. Как же они стучат там, в шкафу! Похоже, они в полном отчаянии, Блюмфельд же, напротив, очень доволен. Он выходит из комнаты, и даже унылый коридор действует на него благотворно. Он освобождает уши от ваты, разнообразие звуков просыпающегося дома приводит его в восторг. Людей почти не видно, еще очень рано. Внизу в коридоре перед низкой дверью, ведущей в подвальную каморку служанки, стоит, засунув руки в карманы, ее десятилетний мальчишка. Он — копия своей матери, и ни одна из отвратительных подробностей ее внешности не миновала этого детского лица. Ноги кривые, зоб, и от этого не дыхание, а какое-то сипение. И если обычно Блюмфельд, стояло мальчишке попасться ему навстречу, убыстряет шаг, чтобы избавить себя от этого зрелища, то сегодня у него на мгновение даже возникает желание задержаться. Пусть его и произвела на свет эта женщина и он несет в себе весь груз своего происхождения, но это же еще ребенок, в его бесформенной головке еще роятся детские мысли, и если заговорить с ним, о чем-то спросить, то, вероятно, он ответит звонким голосом, невинно и почтительно, и, сделав над собой небольшое усилие, можно будет даже погладить его по щеке. Так думает Блюмфельд, однако проходит не задерживаясь. На улице он обнаруживает, что погода сегодня лучше, чем ему показалось из окна. Утренний туман рассеивается, появляются куски голубого, подметенного сильным ветром неба. А ведь именно шарики он должен благодарить за то, что вышел из дому намного раньше, чем всегда, даже газету оставил непрочитанной на столе, времени у него теперь столько, что можно идти не торопясь. Просто уди-

вительно, как мало его заботят шарики с тех пор, как он с ними расстался. Пока шарики преследовали его, они воспринимались как нечто, к нему относящееся, что необходимо как-то учитывать при оценке его личности, теперь же они превратились в обычную игрушку, валяющуюся в шкафу. И Блюмфельду приходит в голову, что, быть может, лучший способ обезвредить шарики — это вернуть им их первоначальное назначение. Там, в коридоре, стоит мальчик, Блюмфельд подарит ему шарики, не одолжит, а именно подарит, что почти наверняка приведет к их скорой гибели. Но даже если они останутся целы и невредимы, в руках мальчика шарики будут значить еще меньше, чем сейчас, когда они заперты в шкафу; весь дом увидит, как мальчик с ними играет, к нему присоединятся другие дети, и мнение, что это просто игрушка, а не своего рода жизненные спутники Блюмфельда, утвердится среди жильцов раз и навсегда. Блюмфельд бежит обратно к дому. Мальчишка как раз спустился вниз по подвальной лестнице и хочет открыть дверь. Нужно окликнуть его, произнести его имя, вполне дурацкое, как и все, что связано с этим ребенком.

— Альфред, Альфред, — зовет Блюмфельд.

Мальчишка замирает в нерешительности.

— Да иди же сюда, я тебе кое-что дам.

Две девочки, дочери привратника, выглянули из квартиры напротив, и вот уже, охваченные любопытством, поместились одна справа, другая слева от Блюмфельда. Они гораздо сообразительнее мальчика и не могут понять, чего он медлит. Машут ему, но при этом не спускают глаз с Блюмфельда, стараясь без надежды на успех отгадать, что за подарок ждет Альфреда. Их мучит любопытство, от нетерпения они все время скачут то на одной, то на другой ноге. Глядя на них и на мальчишку, Блюмфельд смеется. Ну наконец, кажется, все-таки понял; мальчик тяжело, неуклюже начинает взбираться по лестнице. Даже в походке он точная копия матери. Та, кстати, тоже высунулась из подвальной двери. Блюмфельд очень громко, чтобы она тоже услышала и, если надо, проследила за выполнением его поручения, говорит:

— У меня наверху, в моей комнате, два красивых шарика. Хочешь их получить?

Мальчишка только распахивает рот, он не знает, как ему вести себя, и, обернувшись, вопросительно смотрит на мать. Девчушки тотчас начинают прыгать вокруг Блюмфельда и просить шарики.

— Вы с ним тоже сможете поиграть, — успокаивает их Блюмфельд, он ждет, что скажет мальчик. Конечно, можно было бы просто подарить шарики девочкам, но они кажутся ему слишком легкомысленными, к мальчику у него больше доверия.

А тем временем тот уже посоветовался с матерью, без слов, молча, и в ответ на повторный вопрос Блюмфельда согласно кивает.

— Тогда слушай, — продолжает Блюмфельд, который в данной ситуации даже рад, что его не благодарят за подарок, — ключ от моей комнаты у твоей матери, ты возьмешь его, а вот я даю тебе

другой ключ, от платяного шкафа, в этом шкафу лежат шарики. Потом аккуратно запрешь шкаф и комнату. Понял меня?

Ничего он, конечно, не понял. Желая объяснить этому безгранично тупому существу все как можно яснее, Блюмфельд столько раз повторяет одно и то же, говорит о ключах, комнате и шкафах, что мальчик начинает смотреть на него не как на благодетеля, а как на искуителя. А девочки, те сразу все поняли и теребят Блюмфельда, тянут ручки за ключами.

— Да погодите вы, — кричит Блюмфельд, они его все теперь раздражают. К тому же время идет, и он не может дольше задерживаться. Хоть бы уж эта старуха сказала, что все поняла и проследит за мальчиком. Вместо этого она стоит как истукан внизу у дверей и жеманно улыбается, думает, наверное, что Блюмфельд вдруг пришел в восторг от ее отпрыска и теперь проверяет у него таблицу умножения. Не может же Блюмфельд лезть в подвал и орать ей в ухо, чтобы мальчишка ради всего святого избавил его от этих шариков. Он и так подверг себя достаточному испытанию, доверив на весь день ключ от своего платяного шкафа этой семейке. И совсем не для того, чтобы побереечь себя, дает он мальчишке ключ, хотя мог бы привести его наверх и там вручить шары. Но нельзя же сначала подарить шарики, а потом, как это наверняка и произойдет, сразу же отобрать, они ведь снова потянутся за ним, как свита. — Так ты меня понял? — спрашивает Блюмфельд почти жалобно и собирается начинать объяснять все заново, но, встретив пустой взгляд мальчика, обрывает себя. Такой взгляд любого обезоружит. Он может заставить человека говорить и говорить, гораздо больше, чем тот хочет, лишь бы как-то наполнить эту пустоту разумом.

— Мы принесем ему шарики, — кричат девочки. Они хитренькие, они уже поняли, что завладеть шариками смогут только через посредничество мальчишки и обеспечить это посредничество они должны сами. В комнате привратника бьют часы, напоминая Блюмфельду, что ему надо потоплапливаться.

— Ну тогда берите ключ, — говорит Блюмфельд, и ключ этот у него буквально вырывают из рук. И все же он был бы гораздо спокойнее, если бы отдал его мальчишке. — Ключ от комнаты возьмите у той женщины внизу, — говорит напоследок Блюмфельд, — когда вернетесь с шариками, отдайте ей оба ключа.

— Да, да, — кричат девочки и устремляются вниз по лестнице.

Они все поняли, а Блюмфельд словно заразился от мальчишки тупостью, теперь и ему кажется удивительным, что они с такой легкостью усвоили его инструкции. А девочки уже тянут за юбку служанку, но Блюмфельд, сколь это ни соблазнительно, не может дольше наблюдать, как они справятся с его заданием, и не потому, что опаздывает, просто не хочет находиться здесь, когда шарики выйдут на свободу. Прежде чем девочки отпрут двери его комнаты, ему хорошо бы преодолеть расстояние хотя бы в квартал. Блюмфельд просто не

знает другого способа оградить себя от шариков. Итак, второй раз за это утро Блюмфельд выходит на вольный воздух. Последнее, что он видит, — служанка, в буквальном смысле обороняющаяся от девочек, и ее кривоногий мальчишка, спешащий ей на помощь. Почему таким людям позволено жить в этом мире, да еще размножаться, это выше его понимания.

По дороге на бельевую фабрику, где служит Блюмфельд, им постепенно овладевают мысли о работе. Он ускоряет шаг и, несмотря на задержку, в которой следует винить мальчишку, оказывается в своем отделе первым. Это обнесенное стеклянной перегородкой помещение с письменным столом для Блюмфельда и двумя конторками для находящихся в его подчинении учеников. Конторки такие маленькие и узкие, словно рассчитаны на школьников, и все же здесь очень тесно, ученикам негде даже сесть, потому что тогда не остается места для стула Блюмфельда. Так они и стоят целыми днями, притиснутые к своим конторкам. Конечно, это очень неудобно для учеников, но и для Блюмфельда тоже, он практически не видит, чем они заняты. Ведь склоненная над конторкой голова еще не означает, что его подопечный усердно трудится, скорее всего в этот момент он либо шепчется с товарищем, либо просто дремлет. У Блюмфельда с учениками одни заботы, помощи от них почти никакой, вся работа лежит на нем. В обязанности его входит организация всех товарных и денежных отношений с надомницами, поставляющими фабрике определенные сорта тонкого белья. Чтобы представить себе, каков объем этой работы, надо довольно хорошо знать систему в целом. А ее-то с тех пор, как несколько лет назад умер непосредственный начальник Блюмфельда, не знает никто, так что Блюмфельд не может ни за кем признать право судить о его работе. Владелец фабрики господин Оттомар, например, явно недооценивает работу Блюмфельда; конечно, он признает его заслуги, ведь Блюмфельд двадцать лет проработал на фабрике, и признает их не только по обязанности, а потому, что уважает Блюмфельда как честного, достойного человека, — но его работу он недооценивает, он считает, что все можно устроить проще и выгоднее во всех отношениях, чем это делает Блюмфельд. Говорят, и, возможно, это не так далеко от истины, будто Оттомар потому редко заглядывает в отдел к Блюмфельду, что боится в очередной раз впасть в раздражение, наблюдая за его деятельностью. Конечно, это очень печально, когда тебя не признают, но тут уж ничего не поделаешь, не может же Блюмфельд заставить просидеть неотрывно целый месяц Оттомара в своем отделе, изучить все виды работ, применить свои новые, якобы более совершенные методы, чтобы после развала отдела, который непременно за этим последует, признать правоту Блюмфельда. Поэтому Блюмфельд непреклонен и ведет дело так, как вел до сих пор; когда же в отделе после большого перерыва в очередной раз появляется Оттомар, немного испуганный Блюмфельд, сознавая свой долг перед хозяином, все же предпринимает слабые попытки объяснить ему, что и как тут делается, но

тот только молча кивает и, опустив глаза, быстро направляется к выходу, и поэтому Блюмфельд страдает не столько от несправедливости, сколько от мысли, что когда ему в один прекрасный день придется уйти со своего поста, то следствием этого будет страшный беспорядок, потому что он не знает никого на фабрике, кто мог бы его заменить, занять его место без того, чтобы потом долгие месяцы работа фабрики не сопровождалась бы тяжелейшими перебоями. Когда шеф к кому-то относится в этом превзойти. Поэтому никто на фабрике не ценит работу Блюмфельда по-настоящему, никто не считает для себя обязательным в целях повышения своей квалификации поработать некоторое время в отделе у Блюмфельда, никто по собственной воле к нему не идет. Поэтому-то в отделе Блюмфельда и нет молодых кадров. Ему пришлось выдержать несколько недель тяжелой борьбы, пока он, до сих пор трудившийся в своем отделе совершенно один, старого служителя можно не считать, добился хотя бы одного ученика. Почти каждый день Блюмфельд являлся в кабинет к Оттомару и спокойным голосом подробно объяснял ему, почему ему необходим ученик. Вовсе не потому, что Блюмфельд хочет поберечь себя. Блюмфельд и не думает себя беречь, он по-прежнему будет делать львиную долю всей работы, но пусть господин Оттомар задумается над тем, как за последние годы расширилось предприятие, все отделы были увеличены, только про его, Блюмфельда, отдел постоянно забывают! А как вырос объем работы! Когда Блюмфельд поступил на фабрику, эти времена господин Оттомар, разумеется, помнить не может, у него было занято около десяти швей, сегодня же их число колеблется от пятидесяти до шестидесяти. Даже если трудиться с полной отдачей, а Блюмфельд, можете быть уверены, все свои силы отдает работе, поручиться за то, что один человек со всем этим справится, он не может. Господин Оттомар, правда, никогда прямо не отклонял просьб Блюмфельда, со старым заслуженным сотрудником он просто не мог так себя повести, но слушал вполуха, разговаривал в это время, почти не обращая внимания на стоящего в позе просителя Блюмфельда, с другими посетителями, выдавливал из себя какие-то полуобещания и через несколько дней все опять забывал — такое обращение могло обидеть кого угодно. Но не Блюмфельда, Блюмфельд человек реальный, как ни радуют душу похвалы и признание, он может обойтись и без них и, несмотря ни на что, будет оставаться на своем посту, пока это возможно; правда на его стороне, а правда, хоть ждать этого порой приходится долго, должна пробить себе дорогу. И в конце концов Блюмфельд добился своего, получил даже двух учеников, но что за учеников! Можно было подумать, что Оттомар решил наконец свое неуважение к отделу проявить, не отказывая постоянно Блюмфельду в учениках, а, наоборот, предоставив ему оных. Или Оттомар так долго кормил Блюмфельда обещаниями, потому что специально подыскивал именно таких учеников и поиски, естественно, затянулись. Теперь Блюмфельд не мог ни

на что жаловаться, в ответ он услышал бы, что получил двух помощников, хотя требовал одного, вот как ловко все устроил Оттомар. Жаловаться-то, конечно, Блюмфельд жаловался, но не потому, что надеялся получить помощь, на это его толкало бедственное положение, в котором он оказался. Кроме того, он жаловался не специально, а только так, к слову. И все же среди коллег-недоброжелателей распространился слух, будто кто-то спросил Оттомара насчет Блюмфельда, правда ли, что тот, получив такое подкрепление, все еще недоволен. На это Оттомар якобы ответил, что да, действительно Блюмфельд по-прежнему жалуется, и с полным основанием. Он, Оттомар, наконец это понял и теперь собирается постепенно довести в его отделе число учеников из расчета по одному на каждую швею, то есть до шестидесяти. Но если и этого окажется недостаточно, он будет посылать еще и еще и не остановится до тех пор, пока отдел Блюмфельда не превратится в настоящий сумасшедший дом, на который он и так давно уже смахивает. Манера, в которой изъяснялся Оттомар, была спародирована точно, но он никогда бы, в этом не приходилось сомневаться, не позволил себе подобным образом говорить о Блюмфельде. Выдумка лентяев с первого этажа — вот что это такое, нет смысла обращать на них внимания, ах, если бы он мог не обращать внимания на своих учеников. Но они тут, рядом, и деть их некуда. Бледные, слабые дети. Согласно документам они уже вышли из школьного возраста, но, глядя на них, в это трудно было поверить. Таких даже учителю доверить нельзя, только матери, чтобы водила за ручку. Нормально двигаться они и то не умели, долгое стояние, особенно в первое время, их ужасно утомляло. Оставшись без присмотра, они от слабости тотчас засыпали, приткнувшись в углу, жалкие, скрюченные. Блюмфельду так и не удалось втолковать им, что они на всю жизнь останутся калеками, если не будут заботиться об элементарных удобствах. Поручать этим детям какую-либо работу было просто опасно, раз одного из них послали что-то отнести, так он в порыве усердия бросился бежать, наткнулся на конторку и разбил себе колено.

В комнате толпятся надомницы, конторки завалены товаром, но Блюмфельду пришлось все бросить, отвести плачущего сотрудника в контору и там наложить ему небольшую повязку. Но даже такое усердие его помощников было чисто внешним, как всяким детям, им просто иногда хотелось отличиться, но гораздо чаще или почти всегда они были озабочены тем, как бы усыпить бдительность начальника или обмануть его. Однажды во время особенной запарки, когда Блюмфельд, обливаясь потом, сновал как заведенный взад-вперед, он вдруг увидел, что они, спрятавшись за тюками с материей, обмениваются марками. Пройтись кулаком по их головам — это было бы самое мягкое наказание за такое поведение, но ведь это дети, Блюмфельд не может бить детей. Так он до сих пор с ними и мучается. Вначале он предполагал, что ученики будут помогать ему в простейших операциях, хотя, когда идет раздача мануфактуры, даже

эти операции требуют большого напряжения сил и внимания. Представлял себе, как стоит где-нибудь в центре за конторкой, надзирая за всем происходящим, делает записи в книге, а ученики в это время, подчиняясь его указаниям, снуют взад-вперед с товаром. Думал, что осуществляемый им надзор, который при всей его строгости все равно недостаточен, когда в комнате так много народу, будет усилен за счет молодых глаз внимательных учеников; что они постепенно наберутся опыта и перестанут по каждой мелочи обращаться к нему за указаниями, наконец научатся различать — какую швею снабжать каким товаром, кто пользуется доверием, а кто нет. Но все это были пустые надежды, Блюмфельд вскоре понял, что их вообще нельзя допускать к надомницам. Если швея им не нравилась или они ее почему-то побаивались, то даже не подходили к ней, за другими же, наоборот, бежали до дверей. Своим приятельницам они доставали все, что те просили, вечно им что-то совали потихоньку, хотя швеи имели право сами выбирать, собирали для фавориток всякие не представляющие ценности обрезки, кусочки, а заодно и разные нужные мелочи прихватывали, весело махали им за спиной Блюмфельда и за все это получали конфеты. Блюмфельд, правда, быстро положил этому безобразию конец и, когда приходили надомницы, выгонял учеников за перегородку. Они долго не хотели смириться с такой, как им казалось, несправедливостью, упрямылись, нарочно ломали перья и, не решаясь, правда, поднять голову, пробовали даже стучать в стекло, чтобы обратить на себя внимание и подчеркнуть плохое, как они считали, отношение к себе со стороны Блюмфельда.

А вот несправедливости, которые они совершают сами по отношению к другим, эти дети замечать не желают. Они, например, почти всегда опаздывают. Блюмфельду, их начальнику, с ранней юности привыкшему считать само собой разумеющимся, что на службу надо являться по крайней мере за полчаса до начала рабочего дня, и это не карьеризм и не преувеличенное понимание долга, всенавсего врожденное чувство приличия, — так вот Блюмфельду приходится дожидаться своих учеников, как правило, больше часа. Вот он становится за конторку и, жуя принесенную на завтрак булку, начинает проверять по книгам свои расчеты со швеями. Постепенно он погружается в работу и забывает обо всем на свете. И тут вдруг вздрагивает от испуга, да так, что у него после этого еще некоторое время дрожит перо в руке. Ничего страшного, просто в комнату ворвался ученик, вид у него такой, словно он сейчас упадет, одна рука ищет опоры, другая прижата к тяжело дышащей груди — понимать это надо в том смысле, что он извиняется за свое опоздание, извинение столь смехотворно, что Блюмфельд намеренно оставляет его без внимания, иначе он просто должен был бы его как следует вздуть. А так он просто смотрит пристально на ученика несколько секунд, потом величественным жестом отправляет его за перегородку и снова погружается в свою работу. Можно было бы ожидать, что практикант оценит снисхо-

дительность начальника, поспешит к своему месту. Нет, никуда он не спешит, стоит, переминаясь с ноги на ногу, потом на цыпочках направляется к конторке. Похоже, он хочет посмеяться над своим начальником? Нет, и это не так. Обычная смесь страха и самодовольства, против которой ты совершенно бессилён. Чем же как не бессилием можно объяснить тот факт, что даже сегодня, когда он необычно поздно явился в отдел, ему приходится бог знает сколько времени дожидаться — проверять свои книжечки у Блюмфельда нет желания — и выглядывать через застланное клубами пыли, поднятыми щеткою выжившего из ума служителя, окно, чтобы увидеть не спеша двигающихся по улице учеников. Они тесно прижались плечами и, кажется, обсуждают что-то важное, если и связанное с работой, то самым легкомысленным образом. Чем ближе к двери, тем больше они замедляют шаг. Наконец один из них берется за ручку, но не торопится нажать ее, они продолжают что-то рассказывать друг другу и смеяться.

— Открой-ка нашим господам, — кричит Блюмфельд, простирая руки к служителю.

Но когда ученики входят, Блюмфельд понимает, что ему лень с ними ссориться, однако на их приветствие не отвечает и молча направляется к письменному столу. Погрузившись в свои подсчеты, он время от времени все-таки поглядывает, чем заняты ученики. У одного вид очень уставшего человека, он только что повесил пальто на гвоздь и теперь, пользуясь случаем, стоит, прислонившись к стене, трет глаза, а ведь на улице он выглядел вполне свежим, видимо, близость работы его утомляет. У другого ученика, наоборот, настроение явно рабочее, но заниматься он желает тем, что ему нравится, в данный момент ему хочется мести пол. Но это не его работа, мести должен служить, собственно говоря, Блюмфельд не имеет ничего против того, чтобы ученик орудовал щеткой, пускай себе, хуже, чем служить, это делать все равно нельзя, но если хочешь подметать, приди пораньше, до того, как служить начнет мести, а не используй на это время, отведенное исключительно для работы в конторе. Ну, допустим, маленького мальчика бесполезно в чем-то убеждать, но служащий, этот подслеповатый старик, которого Отто-мар, конечно, не потерпел бы ни в каком другом отделе кроме как у Блюмфельда, который живет лишь милостями Господа и шефа, он-то мог бы сообразить и на минутку передать свою щетку мальчишке, ясно же, что у того мгновенно пройдет всякое желание подметать, и он побежит со щеткой за служителем, чтобы скорее от нее избавиться. Но именно теперь подметание кажется служителю особенно ответственной миссией, и как только мальчишка к нему приближается, что есть силы вцепляется дрожащими руками в щетку, о подметании речь уже не идет, теперь все его внимание сосредоточено на обладании щеткой. Но ученик настаивает, правда, без слов, потому что боится Блюмфельда, якобы занятого счетом, да и слова тут бесполезны, до старика не так просто докричаться. Сперва он дергает служителя за рукав. Тот,

конечно, понимает, о чем идет речь, мрачно смотрит на ученика, отрицательно качает головой и еще крепче к самой груди прижимает свою щетку. Ученик умоляюще складывает руки. У него мало надежды добиться чего-нибудь мирными средствами, его развлекает сам процесс, потому он и не оставляет своих попыток. Второй ученик сопровождает эту сцену тихим смехом, вероятно, он думает, хоть это совершенно невозможно, что Блюмфельд его не слышит. Просьбы на служителя не производят никакого впечатления, он поворачивается к ученику спиной, решив, что атака отбита и теперь он может спокойно заняться своим делом. Но практикант, умоляюще сцепив руки, на цыпочках следует за ним. Эти фигуры служитель и следующий за ним по пятам ученик повторяют много раз. Наконец старик понимает, что ему некуда деться и что он выдохнется раньше, чем ученик, хотя, будь у него побольше мозгов, он мог бы догадаться об этом гораздо раньше. Поэтому он решает прибегнуть к чужой помощи, показывает пальцем на Блюмфельда и грозит, если его не оставят в покое, пожаловаться начальству. Теперь ученик, раз ему так приспичило заполучить метлу, должен поторапливаться. Сообразив это, он просто нахально хватается за палку. Второй ученик невольно вскрикивает, предвзято тем самым дальнейшие события, но служителю на сей раз удается спасти щетку, он делает шаг назад, тянет ее к себе, однако ученик тоже не собирается сдаваться, открывши рот и сверкая глазами, он наступает, служитель пытается спастись бегством, но старые ноги не слушаются, вместо бега получается какое-то ковыляние, и тут ученику удается вырвать щетку, но не заполучить ее, она падает на землю и, таким образом, уже потеряна как для служителя, так, по всей вероятности, и для ученика. И тот и другой застывают на месте, поскольку падение щетки не может не привлечь внимания Блюмфельда. Блюмфельд действительно выглядывает из своего окошечка с таким видом, будто заметил все это только сейчас, он строго и испытующе смотрит на обоих, щетка, лежащая на полу, также не ускользает от его взора. Но то ли пауза слишком затянулась, то ли нашкодивший ученик не в силах сдержать страстного желания мести пол, во всяком случае, он наклоняется, правда, очень осторожно, словно это зверь, а не щетка, хватая ее, начинает водить по полу, но когда Блюмфельд вскакивает и направляется к ним, тут же в испуге бросает.

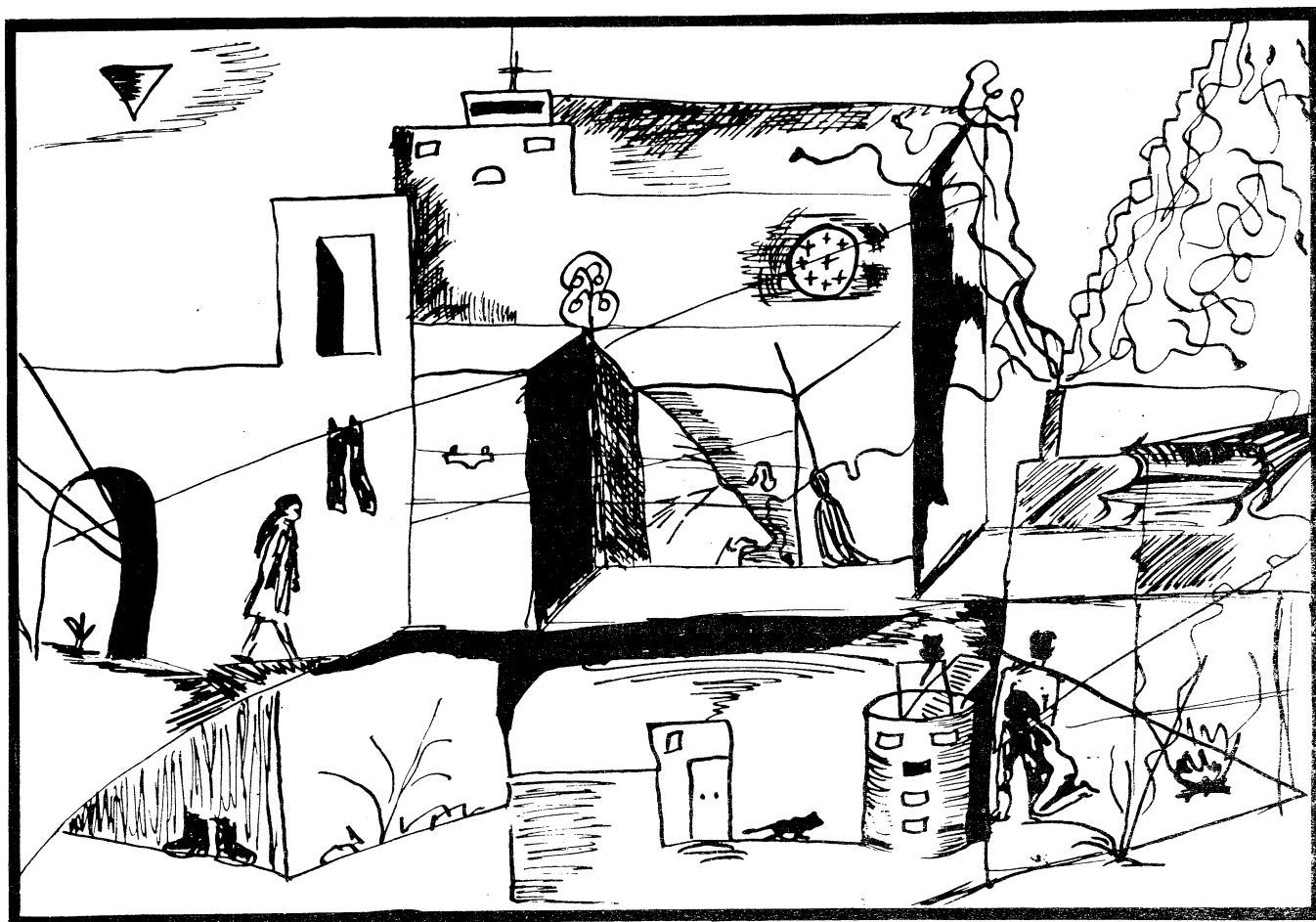
— Ну-ка за работу оба, и чтобы я этого больше не видел, — кричит Блюмфельд и, вытянув руку, указывает ученикам на их конторки. Они безропотно подчиняются, но что-то Блюмфельд не видит стыдливо опущенных голов, наоборот, они смотрят ему прямо в глаза, словно хотят удержать его, не позволить обрушиться на них ни одного удара. Все-таки опыт должен был им подсказать, что Блюмфельд из принципа никогда никого пальцем не тронет. Уж очень они боязливы, потому-то и стремятся защитить не только действительные, но и мнимые свои права.

Перевела с немецкого И. ЩЕРБАКОВА.

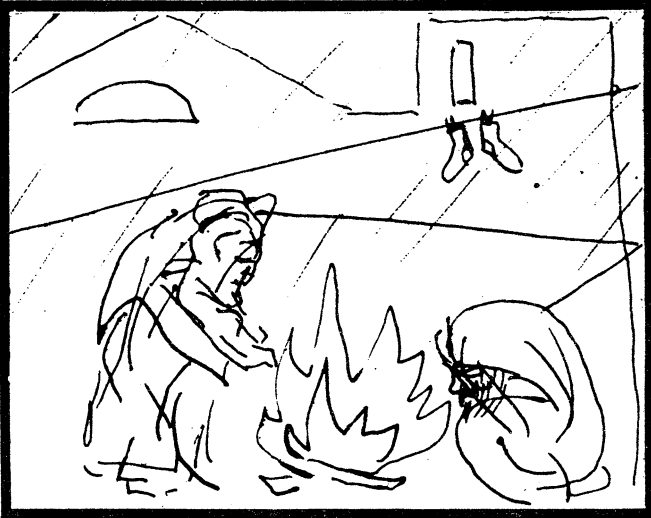
СТИХОТВОРЕНИЕ УДАРНИЦЫ ТРУДА ЗЕЙНАБ АХУНДОВОЙ¹

СЫДЭЛ В АРЫКЕ Я
И ЕЛ КАТЛЭТКА,
И ВДРУГ ВЫСКАКИВАЕТ
МНЕ НАВСТРЭЧУ
КАКАЙ-ТА МАЛШЫК, ГАВАРЫТ:
— ПАДОМ, ПАДОМ! — КУДЫ? — ПРОШУ.
ПАДОМ — МАТРАС ГОТОВА!
— КАКАЙ МАТРАС ЕЩА — ТЫ АКУЕЛ?
Я МЫРНЫЙ ДЭВУШКА, Я БРЫГАДЫР БРЫГАДЫ,
Я КЛОПОК САБЫРАТ ЛУБЛУ, А ТЫ — МАТРАС!
МЕНЕ ЗОВУТ ЗЕЙНАБ! Я МАЛЭНКЫЙ ДОЧЭР КЫРГЫЗА,
Я КОЗОЧКА ТОНЮСЕНЬКАЙ ТАКОЙ,
А ТЫ — БЕЗ ЧАЙХАНЫ, БЕЗ ЗВОНКАЙ ТЕНЬГА —
КО МНЕ ЗАЛЕЗ В ШАЛЬВАР — НАГЛЭЦ! НЕКАРАШО.
СВЭДЫ МЕНЕ ПОКУШАТЬ:
ПИЛАВ, ИЗЮМ, УРЮК И ПАРА ЛИТРАФ ЧАЯ
И СЛЪАДКАЙ ВИНОГРАД!
Я НЫКОМУ НЭ ДАМ,
ПОКУДА ОРДЫН ЛЭНЫНА НЭ ВЫДАДУТ МЕНЕ.
Я — ХЛОПКОРОБ, И ВОТ МОЯ ДЕЛЯНКА.
— ЕБЕНА МАТ! —
И ПРЫ ТАКЫХ СЛОВАХ
ДЖИГИТ ОТ УЖАСА СЪЕБАЛСЯ.
А Я ОСТАЛСЯ.
КАТЛЭТКА ЕМ, СБИРАЮ УРОЖАЙ
И НЫКОМУ НЭ ДАМ, ПАСКОЛЬКА
ЛУБИМЫЙ ДЕЛА У МЕНЯ, ЛУБЛУ Я ТРУД И ЛЭНЫНА ЛУБЛУ.
УРА! ДЫЗДРАСТВУИТ СОЮЗ РЕСПУБЛЫК!

¹ Из цикла «По странам Востока».



ИВИК И АНАКРЕОНТ



В небольшом городе, где дома заменяют притоны, где играют соло и максимум — дуэтом, носки сушатся очень медленно.

Странствующие поэты Ивик и Анакреонт: греются, сушат носки, которые ни хуя не сохнут, сочиняют

десять гипорхем,
семь пеанов,
тридцать эпиникий и ямбов

(госзаказ).

Они вынимают из-за одной пазухи куриную ногу в целлофане, из-за другой — рваный каравай, рвут его мельче, и мельче, и мельче, и быт контрастирует с госзаказом.

— Ивик, дай мне зерен.

— А ты песню спой.

И в и к (*запевает*).

По разным странам я бродил,
и мой с н у р о к со мною...

А н а к р е о н т. Какой с н у р о к еще, в пизду?

И в и к. Какой-какой! Хлопчатый! Снурок катурна, э л е з у а н с к а я попона да пара добрых мулов.

А н а к р е о н т. Ты бредишь, милый. Ты болен инфлюэнцей, мой друг.

И в и к. Конечно, болен. Но другим, любезный. Хотел создать трагедию — ни хуя. Нас освистали в Лациуме — помнишь? То был незабываемый момент. По Аристотелю — нас освистали за д р у г о е. Поймал я помидор и съел. Вослед же — кислый виноград, яйцо индюшки и старое зерно. И ножки от дивана. От мраморного, Ан. Так дурно, дурно получить во спину кусок божественного матерьяла — за ум. И только! Я бешусь, но вижу всю тщету подобных действий. Но я слабею от отсутствия столпа. И утешаться нам невидимой рукою начертано до видимого дня... последнего... (*И Ивик вдруг заплакал.*)

А н а к р е о н т. Не плачь, любезный Ив. Я подкреплю тебя плодом тентутты. О, сладостен сей плод, но он имеет свойство, сходное с похмельем. Потом на стену лезешь, все тебе немилы, поскольку ты немил себе. Ну как, отведаешь плода тентутты?

И в и к. Отведаю. По мне, удвоить и блаженство и страданье — достойнее, чем прозябать бесчувственно, безгрешно и... б е с п о н т о в о, так бы я сказал.

А н а к р е о н т. Воистину! В натуре! Ты молодец, и я тебя люблю! (*Он был изрядно пьян.*) Наполним же бокалы, Ив. Заешь тентуттой. Мы проведем чудесных два часа. Иль три. И что нам дождь?! За эту плоть, пропитанную влагой, скрипучекостную, но крепкую еще, за эти сумерки, за звон разбитых окон, за все, что движется еще и что горит!

И в и к. Прекрасно ты сказал, Пафнутий¹. Умешь говорить — но не умеешь жить. А впрочем, как и я. Я предпочту с тобою разговор прелестнейшей гетере мира — жемчужнокудрой, стройной, величайей. А может, поебемся? Как друзья?

Смех огласил окраины Афин, и тьма мирская расступилась на миг, и ниспослал свой поцелуй двум мутным странникам великий Зевс-вседержец. И пару ангелов друзьям для вспоможенья, анафору и глоссу ниспослал.

Но этого, увы, никто не видел.

¹ Па ф н у т и й — сценический псевдоним Анакреонта. (*Прим. автора.*)



*У самого синего мигал
жил-был Анд со своей
Персефой.*

В небольшом городе, где дождь имеет форму параллелограмма, где все подвластно числам и вину, на форуме горит костер, и двое странников, исчерченных страстями, последних ждут вигилий. Четвертый стражник — лютый кварталер, потенциальный римлянин и стоик, печется о простран-

стве площадей не менее, чем безголосый ритор. Лишь только он вернется, форум будет пуст. Останется сырое пепелище и луковицы в луже у колонн в рассветных бликах. А в соседнем коме надменно, звонко возвестит глашатай:

— Внемлите! Ивик и Анакреонт!

В ДОРОГЕ¹

Сон тлел в прошедшем времени...

Картинки, картинки... Я стораю от картинок и ощущаю в опухшей полости рта над исцарапанным подбородком горячую улитку языка, которая ворочает: на-о-ы, а-о-а. Я изжилена, прокалена, отечна. Вслед за жаждой приходит голод. Я встаю, плюю на всех мужиков по полкам, надеваю трусы — жаркие, — футболочку и хрустко тяну термос с кофе. Смотрите, суки, смотрите на меня, все равно все атрофировалось, я вам даже попочку подставляю и так выгну... еще часов пять мучений. Пять часов. Лихорадка. Мой голос натерт на терке и гулко крошится.

— Разрешите?

— Ах, я ширинку не застегнула.

Провинциальная галантность. Все вы суки. Есть у меня одно не опухшее место: шея. Она жилиста. Я — пухлянка нежратая. Подайте мне мое деградэ — боа мое шерстяное. Вот выйду в коридор мужскими шагами, раскудахтаюсь и вместо того, чтоб ужаться в проходе, прижму его ненароком, седого ежа, — пусть он думает... а я покуда курну под сурдинку поездки.

Ногти мои пропитаны чернилом. Я кусаю синюю касмку и лелею эту неустроенность — самое мое дорогое, вкусное, красивое, бесперспективное похмелье.

Мне надоело дышать своей порочностью. Пойду подышу чьим-нибудь носком. На рваные колготки рваные трусы надену, взбоью, что осталось на голове, и пойду попрошу у них меня разбудить, когда будет то, что надо. Они в своей горенке только размиловались. Опухайте меня, опухайте. Чужой волос висит на спинке. Я вам текстом отомщу. Кровавая, черно-желтая ночь. Иногда так умирают.

Пальцы — налитые сосисочные сочленения с жилами — ищут обувь. Находят меня, так как я сижу на полу.

— Что.

— А где мое тут э'т было?

— Кроме меня, тут ничего нет.

Щупают дальше. И мне уже все равно. Я — потенциальна.

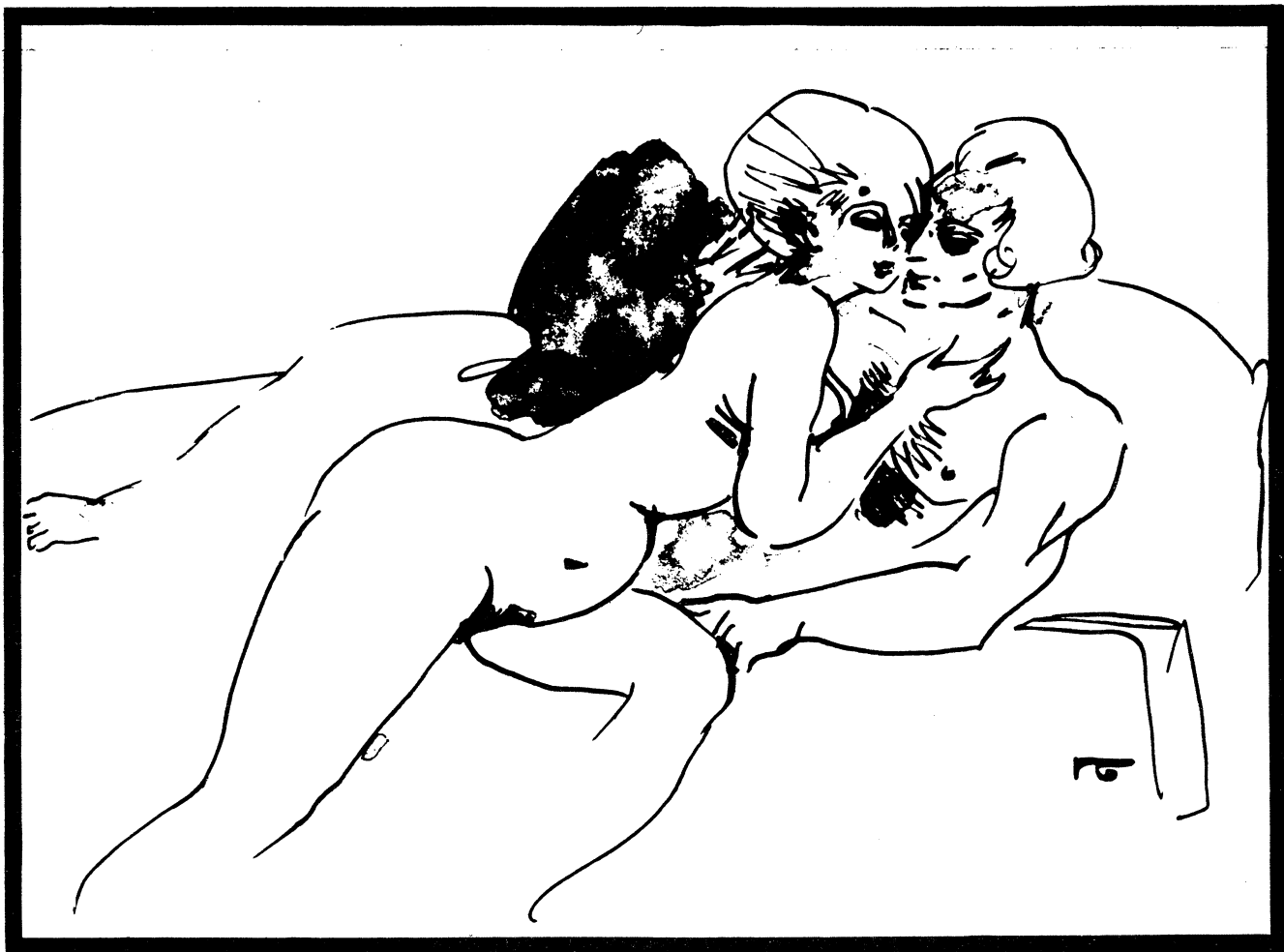
Будто поглотанными кончиками пальцев, будто губными лепестками — по мокрому, снабженному влагой желобу, будто хватаю, охватываю, говоря «о»... там стонут. Чмя. Кап-кап, водяные стаканы, гравированные плоскости... Капелька на конце — серебристая грань. Все уж толсто и плотно. Сокращение продолжается. По треугольному палаточному натяжению подбородка я понимаю, что пора и мне позабавиться каким-нибудь ананасным крем-пюре; слизать вишневый концентрат мало: его надо вобрать. Вибрирует полочка. Некоторые люди при этом неприлично дрожат.

— Ну что, ботинки-ножики? Куда очечки дел? Сейчас мы разрешимся. Сейчас раскончаемся.

За что мне жизнь-то такая?! Это станция В ы с ш и й Волчек.



¹ Из цикла «Видоискательница».



Алексей МИХЕЕВ

НЕУДАЧНИКИ

Роман в шести днях

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Вот он идет по Центральному Дому литераторов, мимо всех этих знаменитостей и светил, которых он с таким увлечением читал с детства, весь в напряжении, чтобы не смутиться, но послав уже заранее им всем вызов, приняв несколько нахальный и самоуверенный вид, впрочем, вполне в рамках, вид независимого человека, прекрасно осознающего цену и себе и своему пусть и не признанному, но таланту, тоже уважающего свою личность и не позволяющего себе опускаться до раболепного преклонения перед звездами. Идет после разгрома его рукописи на Всесоюзном совещании молодых писателей — только что после страшного разгрома, какого он, откровенно гово-

ря, и ждал, к каким, собственно, привык («Да и кто разбирает-то, профаны!»), так что они его мало уже обескураживают, в себе он уверен, но горький осадок все-таки каждый раз остается. Рядом с ним компания встреченных на совещании ребят, знакомых еще по зональному семинару, они помнят и его самого, и повесть его, и, приветствуя его теперь, кричали: «А, ”День первый, день последний“!..» Вчера по приезде ему так радостно было с ними встретиться, что он даже пошел, против своего обыкновения, в ресторан, где они оккупировали столик, приставив к нему дополнительные кресла, навалились и спорили наперебой: «Водки? Вина?» — «Нет, водки!» — «Водки!..» — и где он не пил. Как и тогда, на зональном, как и вообще уже почти не пьет, отвык:

— Извините, мужики...

Они не обижались, они его уже немножко зна-

Печатается с сокращениями.



знакомство



ОТ РЕДАКТОРА

Эту повесть я отношу к своим старым долгам. Лет десять назад, когда я зарабатывал на жизнь рецензированием в толстых журналах, через мои руки проходили иногда интересные рукописи неизвестных авторов. Поскольку служил я нештатно и был бесправным, то есть ничем кроме положительного отзыва помочь автору не мог (а редакторы в отделах при виде такого отзыва морщились, ибо они тоже почти ничего не могли, но положительная рецензия ложилась на их плечи лишним бременем, пахивала скандалом, и они в наказание долго потом не давали мне новой работы), — так вот, удрученный всем этим, я помимо рецензии иногда писал неизвестному автору от себя что-то вроде: «Очень понравилось, но, боюсь, это слишком хорошо, чтобы быть напечатанным сейчас и здесь...»

Из таких авторов был и Алексей Михайлович Михеев, как оказалось — почти мой ровесник, немного постарше. Получив мой ответ, он специально приехал в Москву и разыскал меня, чтобы задать наивно-мудрый вопрос: отчего ж им не печатать, если это хорошо?!.. Тогда, при первой же встрече, я полюбил его уже не только как прозаика, но и как человека.

С тех пор у Михеева были журнальные публикации, вышли две книжки прозы и еще одна — роман Фаулза «Коллекционер» в его переводе. По советским меркам он мог бы считаться в свои сорок четыре года весьма благополучным «начинающим». Если не задумываться о том, например, что едва ли кто из наших читателей знает х о р о ш е г о п р о з а и к а Алексея Михеева, в то время как у каждого в памяти засел десяток-другой имен прозаиков плохих и очень плохих, но почему-то и з в е с т н ы х (беру только мое поколение авторов, не говоря уж о прочих). Да вот еще «Неудачники» — одна из лучших, по-моему, вещей Михеева — так и не увидели света, несмотря на все старания.

Умный и многоопытный В.Я.Лакишин писал в 1987 году автору: «Права ЦДЛ, пошлой писательской среды и достаточно вульгарных клубных девиц мне лично кажутся сюжетом мало достойным серьезного повест-

зования...» Мне это непонятно. Во-первых, в литературе нет «достойных» и «недостойных» сюжетов; отвалившийся у человека нос — это, простите, что за сюжет?!.. А во-вторых, повесть Михеева н е о т о м.

Как сказать, о чем она?.. Это очень русская вещь. И она о России. Или, лучше сказать, она о ж и в ы х д у а х в России, издавна рвущихся сами не зная куда и зачем, но тем самым уже не одно столетие спасающих и себя, и народ, и страну от чудовищного нашествия мертвых душ. Конечно же, она о любви. И о том, что люди не стали хуже, чем были когда-то, их так же греет высокое и прекрасное, просто каждое поколение принимает новые условия игры. И о том, что в столицах они не безнравственнее, чем в провинции, а в провинции не глупее, чем в столицах. И о том (сейчас очень важно), что жизнь, несмотря на навязываемую ей оболочку нищеты и уродства, все-таки интересна, красива, богата и непредсказуема.

В русской литературе, впрочем, все это никогда и не требовало каких-то особенных доказательств.

Но в то же время это повесть об эпохе, об одном поколении и даже, еще более узко, об одном только состоянии этого поколения, каких-нибудь «шести днях», определивших, однако, всю его дальнейшую судьбу. При первом же чтении она потрясла меня этой своей отчетливой до рези в глазах портретностью. Сейчас, несколько лет спустя, нарочно перечитал с пристрастием, потому что есть печальный опыт: даже очень сильные произведения не выдерживали наших катаклизмов, на глазах вяли и умирали, — нет, ничто не заглоло, все здесь так же ярко и свежо, все по-прежнему п о х о ж е.

Может быть, я ошибаюсь, мне это по старой привычке к автору простительно. Да я и не все у Михеева принимаю — особенно по части «идеологии». Но каждый раз, взявшись его читать, я прежде всего испытываю удовольствие от добротной прозы — редкое по нынешним временам, немного старомодное удовольствие, какого давно уже не доставляют читателям наши современные прозаики.

Сергей ЯКОВЛЕВ.

ли. Как не обиделись и не особенно и удивились тому, что вечером он улизнул-таки от них, сбегав в библиотеку — ведь по правде, это сущий бред, идти в такой день читать книги в библиотеке — но он ушел, пробормотав в оправдание что-то о своих редких посещениях Москвы и остром дефиците времени. И они простили его, приняли и это и отпустили с миром.

И вот он идет с ними по ЦДЛ, они голодны, но везде: и в ресторане, и в баре, и у буфетных стоков, — толпа, высыпавшая из зала после торжественного вечера: пустили их брата сюда по случаю открытия семинара по пригласительным. Наконец, отстояв очередь, они покупают бутерброды, ищут место, где приткнуться и поставить бутылки с минеральной.

— Родька! — кричит безобразная вульгарная девица и бросается ему на шею.

Так он и стоит, с бутербродами в одной руке, бутылкой воды в другой, а она у него на шее у всех на виду.

Встреча его совсем не радует. Это Динка. Землячка. Он знал, что она учится здесь в Литинституте, и слишком хорошо знал ее по литобъединению в своем городе. Так что радоваться нечему.

Он беспомощно поглядывает по сторонам, перед семинаристами ему неловко, старается на них не смотреть. Впрочем, и на Динку тоже. Она отпускает его.

— Деньги есть? Есть деньги? — Она взъерошен-

ная и дикая, как всегда. — Напой меня. Ну чего тебе, купи коньяка по сто граммов. Ну возьми... — Она что-то читает у него на лице и меняет тон. — Ну не хочешь, дай денег, я сама возьму. Дай денег!..

Он уже готов дать ей денег, лишь бы отвязаться. Но потом соображает, что это глупо, ведь они все же земляки и не виделись с год. Несерьезно, в конце концов.

Он извиняется перед ребятами. Динка сияет, хватая его под руку и тащит вниз, в бар. Возвращаются они из бара с бокалами, теперь уже за столиком к ее подруге.

— Моя новая подруга, — представляет она.

— Очень хорошо, что новая, с новыми ты хоть терпима.

— Мы с ней учимся в Литинституте. Она очень ценный человек, работает в Союз писателей. Сюда провела меня тоже она.

Девушка сидит. Он кланяется. Девушка смотрит вверх и улыбается. Высокая шея, круглые плечи, прекрасное лицо. И глаза — такие, что не оторвать взгляда. Большие, открытые, которые говорят, что не все в жизни гладко. Но сначала он не думает о том, что не все в жизни гладко, сначала он просто смотрит в них и видит, как они красивы.

— Надя, — говорит девушка.

— Очень приятно.

— Правда, она красивая? — спрашивает Динка.

— Правда.

— По-моему, ты уже влюбился.

— Конечно,— отвечает он довольно пошлым тоном. Но глаза отводит. В то время как ее глаза продолжают глядеть приветливо и спокойно, без смущения и с достоинством.

«Черт!» — думает Родион. И пока разговаривает с Динкой о семинаре, все продолжает думать какими-то междометиями: «Неужели!.. Вот черт...» — и все глядит на Надю. В ее глаза, распахнутые, огромные, завораживающие. На короткую прическу, чуть прикрывающую уши и округляющую ее головку. Смотрит все время. Продолжает смотреть и после того, как сходил за кофе. И когда он уже совсем изнемогает от нежности к ней, Надя поднимается.

— Пойду прогуляюсь...— говорит она.

И тут только он понимает, зачем она поднялась. Тут только он вспоминает, что глаза такие бывают лишь у тех, у которых не все в жизни гладко. Вот она идет меж столиками с тесно сидящими за ними людьми, обходит стулья, и он видит, что у нее не все как надо. И даже более чем не как надо. Настолько, что поначалу даже оторопь берет. Ужас охватывает и растерянность. Но взгляд все такой же спокойный и доброжелательный. И улыбка.

«Черт поberi! Ну!..» — думает он и встает.

— Я тоже пойду прогуляюсь,— произносит он, как бы давая этим понять, что для него то, что она ему сейчас демонстрирует, не имеет значения. Что ему на это ровным счетом наплевать!

И вот они идут рядом, идут вместе по коридору, она продолжает что-то говорить, и он уже простил ей это не как надо, так же как и она простила ему — а он это помнит: когда ходил в буфет за кофе, она обратила внимание, что он тоже не бог весть что, — и простила, и это привнесло в ее взгляд по его возвращению немного снисхождения и еще — приветливость, приветливости даже больше, потому что уже появилось снисхождение. Но он не одолжился, не смутился, снисхождения не принял, взгляд выдержал, и она простила. Также и она не смутилась, и он простил, и более того, когда они остановились у стойки бара и ждали Динку, на виду у всех, он рядом с ней, Родион уже понял, что не только простить, он обязан — влюбиться!.. И что он уже влюбился!.. И его преисполнило упоение от собственной решимости и воодушевления: именно здесь, в Москве, куда он приехал за красотой, за совершенством, за завидным, за признанием, куда все едут за красотой, за завидным, чтобы утвердить себя в красоте, урвать ее, добиться славы, покорить мир, — именно здесь полюбить девушку, у которой не все как надо.

— Садитесь, Надя,— говорит он решительно, приглашая Надю сесть на табурет у стойки, и в тоне его уже содержится некоторая развязность, возникшая вследствие того, что для себя он уже все решил. Впрочем, на этом он сразу ловит себя и исправляется. Потому что она-то еще ничего не решила и дала это сразу понять. И он тотчас вспомнил, что Динка говорила ему, знакомя: что у нее есть красавец муж и очаровательный маленький ребенок — даже фотографию, где она с мужем и ребенком, он видел, да, действительно прекрасная пара, — и он ловит себя на мысли: а при чем тут он?..

Возвращается Динка. Она уже пьяна.

— Ты провожаешь Надю.

— Ладно,— сдержанно и бесстрастно отвечает он, старательно скрывая свою радость перед случаем.

Динка смотрит на него внимательно.

— Да никто тебе никого не навязывает,— неверно понимает она.

— Нет, я с удовольствием.

Он провожает Надю домой. И тут только начинает серьезно думать о ее муже. Не как об отвлеченном субъекте, а как о конкретном человеке. А тот человек, который является ее мужем, мужем такой, какая она есть, с этим ее не как надо, уже заранее симпатичен ему, он его уважает, он ему близок, и сделать ему больно никаким образом невозможно.

Он ведет ее по улице к троллейбусной остановке.

— Только у меня муж очень ревнивый,— вдруг, будто угадывая его мысли и разрешая все его сомнения, говорит она. И добавляет, облегчая его положение:— Он у меня наполовину грузин, вендетта у него в крови.

— О! — с готовностью включается в ее тон Родион и с радостью принимает помощь.— Тогда я иду на приключение!..

И его охватывает жуткий восторг от того, что он так сразу откровенно высказался и что им не пришлось все это вранье и лицемерие первых минут претерпевать. Он даже вздохнул глубоко и с облегчением, засуетился, чепуху заговорил. Так что Надя покосилась на него и улыбнулась.

Они садятся в подошедший троллейбус и устраиваются на заднем сиденье. С радости он становится так болтлив, что начинает нести уже совершеннейшую чушь. С энтузиазмом по своей стародавней привычке начинает нападать на женщин, на всех женщин вообще и молодой в частности, говоря об их женской врожденной эгоистичности, непреодолимой природной тяге к собственности, выше которой они никогда не поднимаются, причем если мужчина в какие-то счастливые моменты может возвыситься над собой и стать, что называется, благородным, то женщины тотчас его полюбуют за это, приберут к рукам, сделают своим, и попробуй он потом быть еще благородным с кем-нибудь другим... На что Надя, выслушав все внимательно, наконец замечает:

— Ты рисуешься.

И ему, секунду помедлившему и помолчавшему от неожиданности, ничего не остается как сказать:

— А ведь и правда рисуюсь. А как ты догадалась? Точно, это я произвожу впечатление на тебя. Но откуда ты взяла?.. И смотри, как хорошо от этого сразу стало! Надя, правда, смотри, как хорошо сразу от этого стало!..

И он до такой степени уже разошелся, до такой степени себя распалил, что неизвестно, что бы еще натворил, если бы в это время при входе в метро Надя не встретила свою старую школьную подругу, с которой, по всем признакам, она не виделась несколько лет.

И пока девушки разговаривают, стоя на эскалаторе, а потом, оказывается, еще и едут в одном поезде, Родион стоит рядом, молчит, мнется, переступает с ноги на ногу и мучается от этой досадной непредвиденной помехи, из-за того, что Надю у него отнимают в такой неподходящий момент.

Надя, чтобы его чем-то занять, чтобы он не скукался, достает ему из сумки рукопись. Он открывает. Стихи. И он запоздало вспоминает, что она ведь тоже из этой братии, она с Динкой в одной семинарской группе в Литинституте, тоже поэт. Он очень не хочет что-либо сейчас читать и лишь че-

рез силу, чтобы не обидеть Надю, пока она разговаривает, полуотвернувшись от него, начинает просматривать страницы. Но голова у него все равно занята совсем другим, и как он ни старается, он почти ничего не воспринимает. Поэтому, когда они выходят из метро и расстаются наконец с ее подружкой, к которой Родион начинает в заключение испытывать уже нечто вроде ненависти, на вопрос Нади о ее стихах он даже не может дать вразумительного ответа.

— Я пьяный, — отговаривается он. — К тому же я себя считаю самым гениальным и поэтому к чужому творчеству могу относиться лишь очень снисходительно. Но одну строчку я запомнил: «То, что Бог создал из твоего ребра, он создал назло мне». Это гениально.

В общем, из сложной ситуации он выпутывается, от того, чтобы что-либо оценивать, отказывается, долго старается вернуть прежнюю непринужденную атмосферу, настроиться на тот тон, когда им обоим было хорошо. И когда это наконец ему почти удается, они уже подходят к ее дому.

— Муж у меня и правда ревнивый, — повторяет Надя, разглядывая внимательно какие-то окна и дверь подъезда.

И она на самом деле замечает что-то подозрительное и, вопреки своему обещанию постоять около дома и поболтать, извиняется и прощается с ним. И они расстаются, так ничего, по существу, и не сказав друг другу, наспех, все получается таким скомканным, незавершенным, даже договоренность о завтрашней встрече, что он уходит полный чувства неудовлетворенности, полный желаний вернуться, в томлении и грусти.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Всю ночь после своего возвращения от Нади он думает над одной и той же пришедшей ему в голову во сне мыслью, заключающейся в том, что они созданы друг для друга:

«Мы с ней оба выбракованные, ущербные, кентавры...»

Он просыпается от этой мысли у себя в номере часа в три, едва заснув. И больше уже не спит. Не может уснуть.

«Я так хорошо понимаю положение обделенного, положение человека, которому дано не все, что другим. И она тоже так это знает... Она всю жизнь в этом ужасе, в этой боли, в этом всегда чуждом ей при любых обстоятельствах и недостижимом мире все имеющих нормальных людей, с мыслью, что она навсегда обречена, отвергнута, заброшена...»

Вот он давно уже заметил, давно вывел для себя закон, что любить может только тех, у которых не все как надо. Таких он понимает, к таким привязывается, принимает душой. И хотя в глубине самого себя он всегда ощущал, как и все, стремление к совершенству, к красивому, идеальному, прекрасному, хотя об этом он так же, как все, мог думать, тосковать, мечтать, грустить, но в то же время всегда прекрасно знал, что любить все равно может только тех, у которых не все как надо. Только таких он чувствует, к таким тянется. Это его мир.

Те, у которых все как надо, в любом случае остаются противоборствующей стороной, их надо завоевывать, покорять, заслуживать, с ними надо держать ухо востро, недоговаривать, строго рассчитывать свои действия, хитрить, обдумывать все

наперед, и всегда мысль в отношении их присутствует: вот получу — и брошу, завладею — а там хоть трава не расти. Они все равно остаются противниками, с ними все отношения — игра, шахматные ходы. Сколько их хотя бы сидело вчера в ЦДЛ, налетело по случаю — и как только они туда попадают?... — надменные, неприступные, сидят и смотрят, как герцогини... Доверять же, делиться чем-то, быть непосредственным, радоваться общему, чувствовать себя раскованно, нечто семейственное, искреннее — это может быть только с теми, кто сам не во всем хорош, кто в своем ущербе ему близок.

Есть два мира: мир безупречных, супермир, завидный, куда все стремятся и куда все равно не попасть; мир, где иные взаимоотношения, красивые, вожделенные. **С у п е р о т н о ш е н и я.** Где живут в самых лучших условиях, где получают лучшее образование, учатся в лучших университетах, хорошо научаются делать дело и делают его хорошо, занимают престижное место, преуспевают в жизни, способны, талантливы, привлекательны внешне, везде чувствуют себя уверенно, как рыба в воде, не надрываются в поисках смысла жизни, не умирают от любви, не знают отчаяния, не ведают страха, меняют жен, связи, привязанности, должности, работу, города, любят естественно и просто и естественно и просто живут.

И есть мир людей, у которых не все как надо. У которых все по-другому, у которых все навыворот, боль и надрыв, болезненность и страдание, отчаяние и непроходящие привязанности, любовь как прибежище, как пристанище, когда человеку хочется думать, что это на всю жизнь, рефлексия, издерганность, нервозность и духовность в любви.

Да, духовную любовь вообще выдумали неудачливые, обделенные красотой и физическим совершенством люди. Это их реакция на их несчастливую судьбу. Но мало того что она ими выдумана, она ведь только у них и есть, только им она и свойственна. Это их привилегия, прерогатива, преимущество; ими открытая, вскормленная и выпестованная отличительная черта; область, недоступная, кроме них, больше никому. Которой завидует, к которой тянется и о которой мечтает весь остальной преуспевающий мир.

Вот поэтому они и созданы друг для друга. Так наплывать на весь этот пышный апломб, на всю красоту, на всю нашу зависть к ней, на нашу тоску по совершенству, на наше стремление к красоте, к идеалу. Ведь разве он, идеал, тебя поймет? Положим, ты его наконец добился, завоевал, заслужил. Разве он твои мысли разделит? Разве выйдет за рамки поверхностных отношений и правил игры, станет близок? Понять тебя может только такой же несчастливый, как и ты...

В темноте гостиничного номера, лежа в постели, Родион вспоминает ее глаза, и снова волна сердечности и тепла поднимается в нем. И он вспоминает другие глаза — с долго висевшего в свое время у него дома на стене портретика жены Герцена, в девичестве Захарьиной. Глаза там были тоже на пол-лица... Художник, видимо, старался изо всех сил. Он только их, собственно, и писал. Они великолепны. Такие глаза можно было видеть только на иконах. Это уже никак не античная красота, не телесность, не пышность, не Ренессанс, а средневековые, олицетворенная духовность. За такими глазами стоит боль, страдание и огромная духовная жизнь... Как выделился тогда для него

Герцен среди всех своих известных современников, у которых жены бывали хорошенькие, изящные, ослепительные, мадонны, но ни у кого из них не было таких глаз. Глаза — это вообще как пароль. Все узнается по глазам. Глаза — это зеркало души. Даже, лучше сказать, это сама душа. Вся остальная красота в человеке — это тело... Захарьина не смазлива, не красива, не обольстительна, не совершенна (у нее и нос, кажется, длинноват)... Она — восхитительна!

Есть красота, которую только хочешь. А есть красота, на которую хочешь только смотреть и любить...

Две вещи запомнились ему в это утро.

Курбатов, земляк его, живущий в соседнем номере. Родион встретил его в коридоре, где тот, идя в окружении парней из своего семинара, красиво рассекал грудью воздух и говорил:

— Нимфетка. Сама прыгнула, мне это спанье сегодня совсем не нужно было, я ничего не просил...— И потом, на чье-то несущественное замечание:— Если б я помнил всех тех баб, с которыми жил...

И второе: разговор рядом сидящих коллег-«дарованый» за завтраком в ресторане. Надо учиться!.. Литературные курсы... Наша провинциальность... Москва... Надо жить в столице... Современные ритмы... Современная культура... Всегдашняя провинциальность нашей литературы... И даже: провинциальный дух Ленинграда. На что Родион, последнее уже не вытерпев, раздраженный и даже раздраженный, заметил в запале, что ведь все сколько-нибудь существенное в этой их современной литературе за последние годы, если разобраться, было создано именно провинциальными писателями. На что, в общем-то, возражений не получил, с ним спорить не стали, напротив, даже вспомнили какого-то критика, который уже высказывал такую мысль:

— Родион, вы знаете критика Б.?

Но Родион не знал критика Б., да и продолжать разговор ему не хотелось, в его намерения это не входило, он даже вообще пожалел, что заговорил. Хотя до самого конца завтрака в голове у него все еще роились недоговоренные злые слова и так и хотелось спросить еще и о том, что дает им это их проникновение современностью, кроме приобретения навыков в обращении с последними новшествами из области автоматизированных услуг и современной бытовой техники. Но он все же сдержался и из ресторана ушел, так до конца от своего раздражения и не освободившись.<...>

На семинаре Родион высидел до обеда. Так как на два часа у него около Литинститута была назначена встреча с Динкой, с которой, в свою очередь, они намеревались ехать к Наде, он ушел сразу после перерыва, боясь опоздать. На троллейбусе добрался до Тверского бульвара и Динку встретил у ворот ограды.

Динка походила на фурию. Глаза у нее были воспаленные, красные, цвет лица очень несвежий, выглядела она жутко плохо, одета неряшливо и вся издергана и взвинчена. И Родион понял, что она и здесь продолжает все так же находиться в не прекращающейся для нее поре неудач и нелюбви. И что стоит на грани нервного срыва.

— К Наде можно до шести часов. Заедем сначала ко мне в общежитие, — сразу раздраженно расставляет она все по своим местам, и Родион вынужден согласиться.

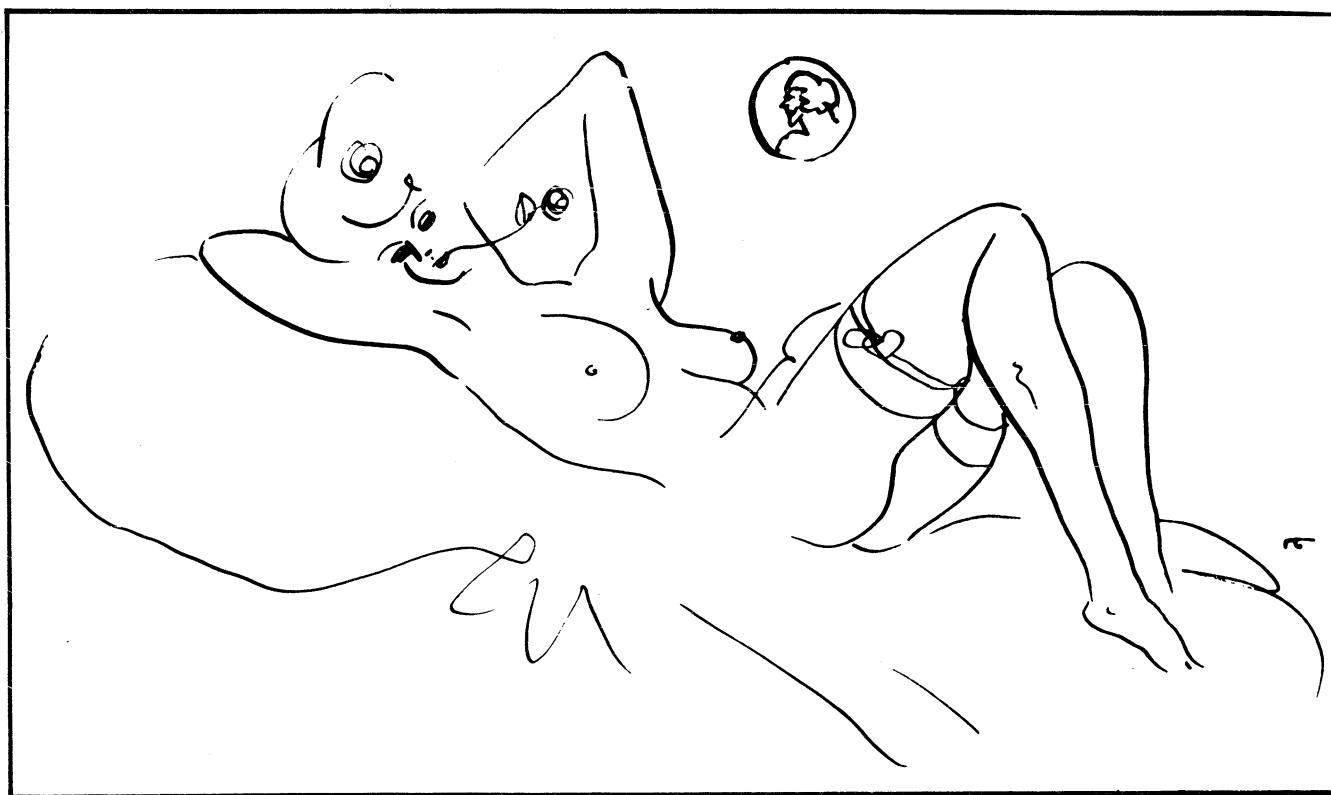
— Ну, как ты тут живешь? — спрашивает он ее по дороге.

— Ох, Самойлов! Моя лучшая подруга выбросилась из окна седьмого этажа.

— Когда это ты успела обзавестись лучшей подругой? Так быстро...

— Это не смешно, Самойлов, я ведь правду говорю.

— А отчего?



— Оттого,— отрезает она.— Вот здесь она лежала, прямо у подвального окна, на асфальте. В два часа ночи. Пока за ней машины не приехали, сначала «скорая», потом милиция...

— Ладно... А как в институте? Как П.?

— П. помогает мне. Он говорит, что меня скоро будут печатать.— Динка слегка оживает, улыбается.— Говорит, массовым тиражом. Хороший он человек, П. Он сказал как-то: ты можешь не учиться, двойки ерунда, у меня тут есть кому учиться, они диплом получают, но мне нужно, чтобы кто-то писал...

— Да? Хорошо сказал, писатель, умеет красивых слов наплести...

— Родька, купи мне что-нибудь поесть. Я уже два дня ничего не ела.

— Ну, насчет двух дней ты, понятно, врешь... Но я все равно куплю. Что нужно-то?

— Давай купим в магазине котлет, я положу их в холодильник в общежитии, и у меня до стипендии будет что жрать.

Они подходят к магазину самообслуживания около общежития Литинститута, Родион пропускает Динку в дверь.

— В этом магазине меня недавно обыскивали,— говорит Динка.— Представляешь, Родька? — Голос ее начинает звенеть, и он чувствует, что она опять взвинчивается.— Им показалось, что я у них украла сыр. Понимаешь?

— Да брось ты! Я все понимаю. Только не надо делать из этого драму. Ты же всегда была реалистом. Что это тебя, я смотрю, здесь стало тянуть на романтику? — Он чувствует, что его первое впечатление у ворот Литинститута не совсем точно. Динка более чем на грани срыва, она находится уже в какой-то непрерывной и, видимо, продолжающейся уже давно стадии отчаяния. Ее надо уговаривать.— Сама себя распоясываешь, распускаешь... Тебе нравится разыгрывать мелодраму? Играть в поруганную честь? У тебя что, появилась честь?..

— Сволочь ты,— улыбается Динка.

— Я не прав?

— Прав, прав...

Динка берет себе котлеты, пакет с яйцами, с картофелем, причем все в разных местах, рассчитываясь в одном месте, заходя в другое. Родион стоит в стороне.

У кассы происходит какое-то замешательство.

— Вы почему с яйцами здесь? — спрашивает Динку кассир.— У нас их в другом отделе берут...

И пока идет выяснение, рассчитывалась ли Динка за пакет у прилавка и есть ли там чек, Динка постепенно бледнеет.

— Может быть, вы меня обшарите? — Она ждет только повода для обиды и еле сдерживается.

— Надо, так и обшарим,— грубо отвечает кассирша, несмотря на то, что чек находится.

— Да, у вас тут принято обыскивать.— На глазах у Динки уже слезы, и она готова взорваться. Она поворачивается к Родиону за поддержкой, но, встретив его суровый взгляд, несколько трезвет.— Вы всех обшариваете,— еще по инерции говорит она.

— Ладно, брось ты их, замолчи.— Родион берет ее под руку, видя, что она напоследок все же подыскивает слова. Динка еще раз поднимает на него глаза и сдерживает себя.

Родион отдает кассиру деньги, и они уходят. На лице Динка вздыхает.



— С тобой не соскучишься,— говорит Родион.

— Ох, Самойлов, как мне плохо...

— Да прекрати ты, не раскисай! Чего ты все время нюнишь? Все время растревляет, растревляет себя... А ведь все хорошо. У тебя есть П. Ты учишься в Литинституте. Ты в Москве. Чего еще? Осталась совсем ерунда, чего страдать? Я вот не учусь, я не в Москве, у меня нет П., скорее я должен бы расстраиваться. А я, наоборот, тебя же и утешаю. Мне же еще и приходится тебя убеждать. А ведь согласишься, у меня положение еще хуже, чем у тебя. Разве не так?

Динка задумывается. Возразить ей нечего. Это действительно так.

— Может, ты и прав.— То, что кому-то еще хуже, чем ей, ее несколько успокаивает. Она даже улыбается.— Ох, Самойлов!..

В вестибюле общежития их встречает вахтер.

— Это со мной,— говорит Динка.

Вахтер оглядывает Родиона, Динка напрягается и уже опять ждет оскорблений, готова провоцировать их.

— Документ надо оставить,— говорит вахтер.

Родион послушно достает паспорт.

— И мне тоже оставить? — продолжает заводиться Динка.

— Да ладно, пошли, пошли.— Родион насильно уводит Динку от вахтера.

Они поднимаются к Динке в комнату.

— Из общежития меня тоже скоро выгонят,— говорит Динка на лестнице.

— Опять натворила что-нибудь?

— Да нет, просто положила ноги на вахтера.— Динка улыбается.

— Как положила?

— Просто. Пьяная была.— Она продолжает задумчиво улыбаться, видимо вспоминая эту картину и, в общем-то, весьма довольная собой.

— Цирк да и только...

В комнате, в которую они входят, на одной из кроватей спит под одеялом красивая блондинка. Из тех, которых хочешь. Длинные ее волосы рассыпались по подушке.

— Это моя соседка, — не понижая голоса, говорит Динка.

— Тише. — Родион прикладывает палец к губам.

Девушка спит очень живописно.

— Вот еще, е...сь где-то всю ночь, а теперь весь день будет спать.

— Вы с ней не контактируете?

— Почему, мы с ней прекрасно ладим.

— Представляю, какая у вас тут жизнь.

В комнате стоят два письменных стола. Динка кладет сумку на один из них.

— Раздевайся, пальто повесь на гвоздь. Я сейчас пойду на кухню и поджарю котлеты. Ты будешь?

— Нет, я обедал.

— Почитай пока что-нибудь. Вот моя повесть, прочти ее.

— С ума сошла? Я же не успею.

— Ну хоть местами...

Динка уходит. Родион, устроившись за столом, заглядывает в Динкину рукопись. На постели происходит какое-то движение, Родион поворачивает голову. Девушка лежит с открытыми глазами. Родион кланяется ей.

— Здравствуйте, — отвечает девушка. — Выйдите, пожалуйста, на минуточку. Я оденусь.

— Конечно, — говорит Родион и поднимается. Внутри у него на мгновение становится жарко.

И пока он стоит за дверью, прислонившись спиной к стене и листая Динкину рукопись, он все продолжает помнить о девушке в комнате. Через несколько минут возвращается Динка.

— Тебя уже выгнали?

— Одеться нужно...

— Проходи, — не предупреждая, открывает она дверь и пропускает Родиона в комнату.

Девушка уже оделась. Джинсы, батничек. Она расчесывает волосы перед зеркалом. Выглядит она еще лучше, чем на первый взгляд. Высокая, стройная, джинсы обтянули крепкие крутые бедра. И то, что она е...сь где-то всю ночь, придает ей только еще большую пикантность.

— Познакомься, Наташа, — говорит Динка. — Это Родя Самойлов, участник совещания молодых писателей, мой земляк.

— Очень приятно, — улыбается ему девушка.

Родион чувствует, что его невольно влечет к ней. Они перебрасываются несколькими словами о семинаре, с помощью которых инстинктивно прощупывают друг друга, в результате чего девушка, видимо, решает, что если она уйдет и оставит их вдвоем, то она много не потеряет. Он понимает это по ее глазам. Это несколько обижает Родиона, его ненужность в таких ситуациях всегда ранит его.

— Проходи сюда, — наконец перебивает их Динка, — садись. Прочел уже что-нибудь?

— Совсем немного.

— Ну и что?.. Ладно, я потом тебе сама почи-таю.

Девушка прощается. Родион поднимается и тоже прощается с ней. И потом некоторое время еще ощущает сожаление оттого, что она ушла, как всегда в таких случаях, когда красота была рядом и проходит мимо.

Динка опять исчезает в коридоре, дожаривает

котлеты и возвращается в комнату со сковородкой. Она съедает обед и начинает читать Родиону свою повесть.

И как только она берет в руки рукопись, у нее даже румянец появляется на лице. Она закуривает сигарету, пальцы у нее дрожат.

Читает она с явным удовольствием, даже с наслаждением, в экстазе. Лучшие отрывки из начала, середины и конца, объясняя, что между ними, о чем речь, что к чему, и под конец Родион убеждается, что повесть, похоже, действительно хорошая.

— Ну как? — первое, что она спрашивает после окончания. В голосе у нее сильнейшее возбуждение, хотя в то же время и какая-то усталость, изнеможение. Ее еще слегка лихорадит.

— По-моему, неплохо.

— А как ты думаешь, ее напечатают?

— О, вот этого не знаю. Спроси что-нибудь полегче.

— Ну а как тебе самому кажется?

— Да не знаю. Что могу решать я?

Динка вздыхает. Складывает рукопись.

— Самойлов, когда наконец меня будут печатать?.. Я уже так устала. Уже сил нет. Все бесполезно. Сплошные неудачи... Один П. Но и он ничем существенным помочь не может. Безнадежно все...

— Что ты опять разнылась?

— Но ведь жуткая непруха!..

— Ну и что? Ты написала хорошую повесть. Уверена в этом, так и радуйся, чего тебе еще? Радуйся тому, что есть. Нам с тобой это единственное, что остается. Мы с тобой оба недотыкомки, нескладные, невнятные, провинциальные, и нам надо радоваться своему. Сегодня у нас одна страшенькая семинаристка из Кургуана, поэтесса (и, говорят, кстати, хорошая поэтесса), сказала за обе-



дом одну фразу... Мы сидели за столом, она посмотрела вокруг в зал и говорит: «Сколько красивых девушек... И зачем им только стихи писать, уму непостижимо...» Понимаешь? Нам надо с этим смириться, свыкнуться — с тем, что нам дано вот это, от и до. А все остальное — не наше. По Сеньке шапка. Вот мы все рвемся, пытаемся выбиться, что-то заполучить. Москва, печатанье, слава, красивая жизнь. Признайся, сколько ты на это затратила труда... Ты говоришь, что тебе лучше станет писать, когда у тебя наконец все будет. А ведь неправда. Ты тогда лишишься своего главного стимула, хуже тебе станет писать. Вот когда ты станешь уже действительно несчастной. А сейчас, пока у тебя получается — положим, стихи ты писать не умеешь, твои верлибры я читать не могу, но повесть вот хороша, — пока получается, ты ведь чувствуешь себя прекрасно, мне не надо тебе этого объяснять. Ведь счастлива, когда видишь, что получается хорошо. Ну так и радуйся этому, чего тебе еще? Это твоя радость и это замена любому счастью. Это не так мало, если не сказать, что это так много, что по сравнению с этим все остальное как раз и есть пустяки...

Динка молчит.

— Тем более что тебя уже два раза напечатали в журнале. Что тебе еще нужно?.. Кстати, мы собираемся ехать к Наде?

— Послушать тебя, так я счастливейшая из людей.

— А разве не так?

— Может, и так. Ладно, поехали. Надька уже ждет...

И они одеваются и снова идут на троллейбусную остановку. Начинается та часть дня, ради которой с самого утра что-то торжественно готовилось у него в груди.

Надя спустилась к ним после того, как ее с трудом нашел и вызвал какой-то сотрудник («Это кто, наш библиограф?..»). И только увидев ее, Родион понял, и а с к о л ь к о он рад ее видеть. И к а к он ждал этого момента весь день, и как он теперь счастлив. Он даже ослаб на мгновение от внезапной этой своей нежности к ней и облокотился на перила. И с глупой и счастливой улыбкой наблюдал, как девушки здороваются, как заговаривают о чем-то своем, как жестикулируют, меняют выражения глаз, интонацию, тон.

Надя прелестна. Прелестна все так же. Эта ее короткая прическа, ее головка... Он даже не верит, что вчера был к ней так близок.

Они поднимаются по лестнице и идут в картотечную. Надя впереди них с этим ее не как надо. Восхитительная и естественная, будто это ее не как надо, напротив, именно надо. Раскрепощенная, непринужденная; не с той раскрепощенностью и раскованностью, равнодушной самовлюбленностью, которая от избытка, от чувства переполненности, от чувства совершенства, — а с той, которая таким и не дана, которую еще надо достичь, суметь достичь, и которая есть уже чуть ли не подвиг.

— Я сегодня подцепила такого нужного человека, Дина! Я тебя обязательно познакомлю, он тебе может быть полезен. Он может помочь напечататься.

Он краем уха слушает то, о чем они болтают, их треп, иногда фиксируя внимание на отдельных фразах. Вот они говорят о каком-то редакторе журнала, вот о прочитанной Наде Динкиной поэме —

вернее, Надя высказывает Динке свое суждение: «Это не поэма. Поэмы нет. Я прочла от начала до конца. Поэмы нет, это проза. Хорошая профессиональная проза...» — на что Динка соглашалась: да, это не поэма, это проза. И уже злилась и заводилась с пол-оборота.

Он слушает и прощает Наде все: и ее болтовню, и ее желание выглядет этаким принципиальной и смелой во мнении, невзирая на лица и отношение к ним, честно сказать «не понравилось», пусть и подруге, если действительно не понравилось, и этот ее задор, эту школьную резкость — опуская все это, относя на счет ее молодости и все равно любясь всем, что в ней есть, вместе даже и с этим ее не как надо. Девушки курят, сидя в картотечной, и после обсуждения Динкиной поэмы опять болтают о пустяках. Родион ходит в стороне, дожидаясь своей очереди и рассматривая на полках книги.

— Самойлов, у тебя ширинка расстегнута, — говорит Динка из своего угла.

— Да? — отвечает Родион и подтягивает слегка приспутившийся замочек «молнии».

— Дина, ты не о том думаешь, — замечает Надя.

— Я всегда об этом думаю.

Динка опять находится в мрачном расположении духа. Она помнит, что Надя сказала ей о ее поэме. И, зная Динку, Родион уже понимает, что это всегда будет присутствовать в их отношениях, и с очевидностью можно уже заключить, что с этой «новой дружбой» у Динки уже все. У нее так всегда.

Уходят они в пять. Надя провожает их до дверей, спускаясь с ними по лестнице, и наконец оказывается с Родионом рядом, и они еще некоторое время продолжают стоять в холле.

Они стояли в холле, прощаясь. В ушах у Нади поблескивали сережки, видные ему немного сбоку, маленькие золотые сережки, нежно висящие на каждом ушке, такие славные, что он даже до одной дотронулся. Поднял руку и, пока Надя разговаривала с Динкой, приглашая их вместе опять в ЦДЛ, улавливая о времени и месте встречи, отвел ее волосы за ухо, потрогал и поцеловал.

— Самойлов влюбился, — тотчас выпалила, мгновенно сориентировавшись, Динка.

А у Нади чуть порозовели скулы, и она отвела от Родиона глаза.

— Вы приходите в семь часов, я вас встречу, — сказала она Динке.

Тогда Родион подался вперед и поцеловал ее еще раз, закрыв глаза и прижимая губы к щеке у самого края ее губ.

Надя опять смотрела на Динку, а Динка была уже в какой-то коме, в остолбенении.

— Самойлов влюбился, влюбился, влюбился...

Родион еще ниже наклонился и поцеловал Надю теперь уже в самые губы, и Надя сказала:

— Родя, ты ужасен. — Улыбнулась, но не двинулась с места, не пошевелив ни головой, ни рукой. И опять, переведя взгляд на Динку, произнесла: — Я вас проведу.

Но Родион поцеловал ее еще раз и еще, и тогда Надя сказала, глядя на него:

— Ты это не так делаешь.

И он проговорил около самого ее лица, дыша ей на кожу:

— Ты меня поправишь? — Хотя понимал, что она имеет в виду что-то совсем другое. Но это уже не имело значения.

Динка решила это понять буквально.

— Ладно, я отвернусь, — сказала она, — целуйтесъ.

Родион выпрямился.

— Все, — сказал он и взял себя в руки.

— Ладно, я пошла, а вы целуйтесъ.

— Все, все. — Он все смотрел на Надю.

— Я заеду с работы домой, а в семь часов буду вас ждать, — сказала им Надя, и Родион медленно, почти что пятясь в дверь, протискиваясь в нее спиной, вышел вслед за Динкой на улицу.

Он догнал Динку на крыльце.

— Вы уже вчера трахнулись, — сказала она.

— Дина, ну что ты говоришь?

— Нет, трахнулись.

— Брось ты! Да и когда, где?

— Значит, пообжимались...

Она была близка к истерике, но Родион на этот раз не замечал ее состояния, забыв, что Динка нуждается в помощи, и был эгоистически занят только собой и своим чувством, тем, что испытывал и чем был переполнен. Они прошли молча довольно много, почти до самой остановки, и Динка наконец сказала:

— Мне так плохо, Самойлов.

— Да? — только и произнес он.

— Да. А ты точно влюбился. — Она посмотрела на него. — Я тебя таким никогда не видела.

Он улыбнулся смущенно.

— Кажется, влюбился.

— Влюбился, влюбился, влюбился... Самойлов, напои меня шоколадом.

— Зачем?

— Ну не жмись. Мне так плохо.

— Да где?

— На улице Горького, я знаю...

Они пьют шоколад на улице Горького, стоя за столиком, потом Динка требует, чтобы он посидел с ней на лавочке в парке, и он все время пребывает в мечтах и, не желая замечать жестокости своего поведения, бестактно рассуждает об обрушившемся на него чувстве.

Динкина злость уже слабеет.

— Ты хоть заметил, что у нее...

— Ну конечно!.. — У него от воодушевления даже начинают блестеть глаза.

Динка замолкает надолго. Он каблуком притоптывает на асфальте старый грязный снег.

— Почему, правда, я влюбился?

— Ну почему... — крепясь и пересиливая свою зависть к его состоянию, говорит Динка. — Новая обстановка, смена образа жизни...

— Обстановка?... Может быть, ты права.

— Она вообще-то простая потаскушка. Самая настоящая.

— Ну а что ей делать? Это можно понять...

— Да вообще-то все мы потаскушки, — задумчиво говорит Динка и добавляет: — Вот только что ей от меня надо? Ты не знаешь?

— В каком смысле?

— Она вдруг полюбила меня. Все старается помочь как-то, то билет достанет в театр, в ЦДЛ проведет. Не понимаю, что ей от меня надо.

— Ну, может, ты ей просто понравилась?

— А может, она лесбиянка?

— Ты отказываешь ей в том, что она может любить тебя бескорыстно?

— О, не говори ерунды, Родька!<...>

Они встречаются в ЦДЛ в семь вечера. Надя проводит их по очереди, и потом Родион не отходит

от нее уже ни на шаг. Он как будто к ней привязан, его тянет к ней, как магнитом. Надя даже пытается ласково корить его за это:

— Родя, ну так нельзя... У меня тут масса знакомых...

— Еще немного. Мне сейчас так хорошо с тобой, что я боюсь, это может исчезнуть.

И Надя сдается, видя, что тут уже ничего не исправить.

Они все трое сидят за одним столом со славными ребятами, молодыми сотрудниками каких-то центральных журналов, с которыми его познакомил девушка, и для него они все сейчас милы — правда, имена их он сразу забыл. Ребята просматривают предложенную Надей рукопись стихов, ту рукопись, что он уже видел. Сидят за столом у стены в каком-то проходе, где главное — это иметь стул, а там уж как приткнешься. На столе у них стаканы, бутылки с минеральной, время от времени появляется вино, которое кто-нибудь из них приносит из буфета и разливает на всех. Родион с Надей почти не пьют, зато много пьет Динка. Она уже начинает кого-то «раскалывать» на сто пятьдесят граммов коньяка.

К ним подсаживается знакомый Наде молодой уже художник, говорит ей о ее глазах, говорит, что такая красота, как у нее, была идеалом художников восемнадцатого века. Потом ребята начинают хвалить ее стихи. Передают по кругу отдельные страницы.

— Это надо взять. Я ничего не гарантирую, но я покажу в редакции. Там, конечно, план на пять лет вперед, но кто знает...

Родион так рад, так доволен, что у Нади оказались стихи хорошие. Его волнение становится еще сильнее. Он берет некоторые из них, читает, и то, к чему он вчера отнесся так невнимательно, действительно вызывает сейчас интерес. А стихотворение с той запомнившейся строчкой оказывается вообще прекрасным. И еще несколько стихов запомнилось ему. И он рад некоторые из них прочесть на память Наде.

Надя мило улыбается, отвечает улыбкой всем. Она тронута общим вниманием, счастлива и польщена. Держит она себя в этой ситуации безукоризненно, так что впору только любоваться ею.

За их столиком сидит и тот «нужный человек», о котором Надя говорила Динке у себя на работе и с которым как раз хотела ее познакомиться. Он молодой, примерно одних лет с Родионом, но уже заведомо в одном толстом журнале. Зовут его Гриша. Именно его-то пытается расколоть на сто пятьдесят граммов коньяка Динка.

Наконец она добивается своего, Гриша сдается. Он встает, прощается во всеми и почему-то индивидуально с Родионом.

— Очень приятно было познакомиться, — говорит он.

— Мне тоже, — поднимаясь, отвечает Родион, хотя и несколько удивлен этой внезапной симпатии. Он улыбается и пожимает протянутую руку.

Динка и Гриша уходят, а Родион опускается возле Нади.

— Всем с тобой очень приятно познакомиться, — с каким-то вызовом произносит, глядя Родиону в глаза, сидящий с противоположной от Нади стороны ее знакомый художник.

Родион пропускает это мимо ушей. Но Надя пропускает ситуацию.

— Не надо. Родион очень хороший человек.

— Да? — произносит художник, виновато глядя на Надю, и несколько смущенно отводит глаза в сторону.

Вскоре вслед за другими ребятами уходит и он, Надя с Родионом остаются почти одни.

— Наденька, ну пойдем мы наконец отсюда? — наклоняется он к ней. — Я все не дождусь, когда ты будешь вся для меня. У меня сейчас столько нежности к тебе, что я готов унести тебя отсюда на руках.

Надя улыбается.

— Подожди еще немного, мне кое-кого надо здесь еще увидеть и уладить кое-какие дела.

Он отпускает ее. Через некоторое время она возвращается. Они собираются уходить.

Появляется Динка, де безобразия пьяная, растрепанная, отвратительная. Ложится на стол. Вульгарно ломается. Надя в ужасе и глядит на нее со страшнейшим возмущением. Динка начинает приставать к оставшимся за столом ребятам-журналистам.

— Дина, — одергивает ее Надя, — если ты сейчас же не прекратишь, мы с тобой больше не подруги!<...>

Динка нехотя и не глядя в сторону Нади сползает со стола, ступает на пол, неровно идет к выходу. Но хватает ее ненадолго. У гардероба она начинает кланяться деньги у какого-то мужчины. Мужчина с дамой; но, позволяя своей даме уйти вперед, он принимает Динкину игру и с серьезно-насмешливым видом достает бумажник.

— Сколько? Двадцать пять рублей хватит? — спрашивает он.

— Хватит, — отвечает Динка, но в это время, неловко опершись о спинку стула, она падает вместе со стулом на пол.

Мужчина не спешит ее поднимать. Все это, видимо, его забавляет. Вся сцена выглядит мучительно-противной. Родион торопливо подходит к Динке и помогает подняться.

— Пошли домой, — говорит он. — Где твой номерок? — И, поворачиваясь к мужчине, все еще стоящему здесь, добавляет: — Извините, это моя девушка.

— Я хотел дать ей денег.

— Ничего, не стоит.

— Я хотел ей помочь.

— Она в вас не нуждается.

Он подводит ее к гардеробному барьеру. Гриша стоит уже здесь.

— Это моя дама, — говорит Родион подозрительно косящемуся на Динку швейцару и сам надевает на нее пальто. Это ему с трудом удается, и он выводит ее на улицу.

Но когда появляется Надя с Гришей, он тотчас оставляет ее. Он только делает всего-навсего один шаг к Наде, Надя берет его под руку, и пары сразу распределены. Гриша с Динкой уходят на стоянку такси, а Родион с Надей на троллейбус, оставаясь наконец вдвоем.

— Я шлюха, — говорит Надя по дороге. — Нет у меня на работе ни одного мало-мальски симпатичного мужчины, с которым я бы не переспала.

— Зачем ты это говоришь? Расчищая мне поле деятельности?

— Нет, просто лучше сказать самой, чем ты услышишь это от кого-нибудь со стороны.

— Ты уже Динке не доверяешь? — улыбается он и сам берет Надю под руку. — Это меня мало

беспокоит. Я сейчас настолько в тебя влюблен, что готов принять в тебе что угодно.

— Ты меня любишь?

— Разве это не заметно?

— Скажи, Родя, а ты мог бы застрелиться из-за меня?

— О, это ты так проверяешь мою искренность? Я понимаю, мои слова звучат странно. Но я оговорюсь сразу: я реалист, а не восторженный мальчик, и все понимаю и знаю что к чему. Мало того, я еще и фрейдист, в мединституте увлекался психоанализом. Поэтому, что такое влюбленность, я знаю тоже и на ее счет не обольщаюсь. Знаю, из чего она рождается, на чем основывается, знаю, что она через некоторое время начнет проходить, это как болезнь. И тем не менее сейчас я тебя действительно люблю, и люблю безумно. Я тебе говорю это совершенно искренне, и мне приятно тебе это говорить, когда я произношу «люблю», у меня даже сердце заходится от моей к тебе нежности.

— Ты так все детально описываешь...

— Я это знаю, я психиатр.

— А ты мог бы на мне жениться?

— Надя, — он улыбается, — ты опять об этом...

Но извини, нет. Для этого мне сначала надо было бы развестись, а этого я делать никогда не стану. И хотя, может быть, и был бы не прочь, все время только об этом и думаешь, а сейчас не прочь вдвойне. Но я прекрасно знаю, что потом — хоть с тобой, хоть с кем — все окажется опять как и было, это одинаково у всех. Один раз уже женился, сделал глупость, зачем повторять ошибку дважды, причем там уже и так много долгов... И потом, ты легкомысленна, ты бы мне наставляла рога, а я бы от этого страшно мучился, я к такому очень болезненно отношусь.

— Я бы тебе не изменяла.

— Ну, не надо, мы с тобой так похожи... Да и это я так, говорю-то я о другом, о своей в тебя влюбленности. Я уже как-то формулировал для себя. Влюбленность — это как хмель, как сладостное, счастье, сумасшедшее состояние опьянения. И влюбился, как захмелел...

— Ты хочешь об этом написать?

— Написать? Зачем?

— Ну, кто знает... А что, Родя, напиши обо мне роман.

— Ладно, подумаю...

— А может, тебе нужна женщина?

— Ну, пошла перебирать... Ты определенно меня вычисляешь.

— Но должна же я знать, зачем все это, что в твоих планах.

— А почему обязательно что-то должно быть в моих планах, а без прагматизма быть влюбленным нельзя?

— Но ты же фрейдист.

— Положим, фрейдизм — это не так элементарно.

— Но ты же мужчина.

— Я еще не выяснил, хочу ли я тебя, — говорит он и чувствует, что на этот раз сказал уже лишнее. — Понимаешь, я об этом еще не думал, — начинает исправляться он, — я совсем другим занят насчет тебя, и это другое гораздо для меня важнее, оно только у нас с тобой, оно уникально. Секс практически одинаков, он один на всех.

— Да, да, — охотно соглашается Надя, решив на первый раз не обижаться и помогая ему выйти из неловкого для него положения, в которое он сам

себя загноил.— Ты прав. У меня тут тоже был роман с одним критиком, я чуть было из-за него не бросила своего мужа. Но потом, в последний момент, подумала, что ведь все одинаково, а привыкнем — вообще будет то же самое. А тут уже есть семья, ребенок...

— Вот именно, все станет по-прежнему, а с другой стороны, за все надо отвечать...

— Да, конечно...

— И за ребенка, и за жену, и вот за мужа...

Кстати, как он, знал об этом твоём романе?

— Догадывался, наверное... Я тут написала много стихов с полгода назад, целый цикл. Боялась ему показать. А он как-то случайно наткнулся, прочел и говорит: «Молодец ты у меня!» А ведь там все не про него!..

— Ну а как он вообще на это смотрит?

— Как... — произносит она задумчиво. — Трах-нет тоже кого-нибудь в отместку.

И Родион почувствовал, понял, вспомнив заодно и утренний семинарский разговор, что все они, эти современные эмансипе и свобододолюбы, передовые ниспровергатели старого, торопливые революционеры и проповедники новых свобод, — все они тоже страдают; при всем их стремлении казаться выше чувств и предрассудков так же они ревнуют, так же мучаются и переживают, как и встарь, как сотни лет назад. Понял и почувствовал это по тому, как Надя улетела в этот момент от него страшно далеко, настолько далеко, что даже, можно сказать, была уже не с ним. Вот ведь позволяешь себе измену и оставляешь вроде бы точно такое же право на свободу за другим. Но воспринимаешь реализацию этого права другим всегда страшно болезненно. И чем легкомысленнее человек, тем больнее ему, потому что он уже знает цену этой свободе, знает по себе...

— Кто он у тебя?

— Музыкант. Причем хороший музыкант. Он не москвич, с жуткими трудностями поступил здесь в консерваторию, сейчас работает ночным сторожем, но, кажется, его берут в театральный оркестр. А вообще-то ему сейчас тяжело...

— Я, признаться, заочно его уважаю. Мы с ним в чем-то одинаковы, судя по нашему отношению к тебе.

— Да вы и земляки почти. Он тоже из-за Урала. Приехал... О, это была такая романтическая история... Перед тем как на мне жениться, он жил на вокзалах... Родя, а хочешь, я буду устраивать твои дела? Давай, ты будешь присылать мне рукописи, а я буду находить тебе нужные связи...

— Не нужны мне никакие связи.

— Я могу попробовать, у меня есть знакомые писатели, может, что-нибудь смогу устроить.

— Не надо мне никаких устройств, устройства эти... Кстати, я вот все хотел спросить: зачем ты работаешь в Союзе писателей? — И он опять тотчас чувствует всю бестактность этого вопроса и завоедало понимает всю невозможность своего поведения. — Хотя нет, это срунда, — поспешно добавляет он. — Извини, я сказал чушь.

— Отчего же, ты правильно говоришь. Я сама уже думала, что мне, наверное, надо уходить отсюда.

— Да нет, я просто глупость сморозил. Я дурно воспитан, что на ум придет, то и лягну. Просто я не люблю всех этих ваших бумагомарателей. Это вызвано исключительно моими неудачами, моими счетами с ними, и никто не обязан мое отношение

разделять. Но по мне все эти протекции, связи, влияние, положение... Это жуткое желание стать писателем...

— Но ты ведь тоже хочешь стать писателем.

— Нет, не хочу. Скажем так: я просто пишу. Сейчас все стремятся стать если не актером, так писателем. Моя бы воля, я бы хоть гонорары запретил, по крайней мере было бы свободнее.

— Ну, это уже лишнее, — улыбается Надя.

— А что, — в свою очередь продолжает фантазировать он. — Правда, там остались бы известность, слава. Надо бы только номер. Чтобы читатель мог по номеру ориентироваться.

Он говорит это наполовину в шутку, наполовину всерьез и в то же время смеется над самим собой.

— Все эти ваши тузы, метры, большие люди, эти их присмы, встречи, награды, торжественные обеды... Ты обратила внимание, что все торжественные мероприятия сопровождаются обедом? Званные обеды, юбилейные, по случаю столетия создания произведения «Сестра Кэрри», свадебные, в честь высокого гостя... Как будто ничего священные жратвы для нас нет!

Надя смотрит на Родиона с любопытством.

— Родя, ты положительный человек.

— Да? — улыбается он. — Я рад, что тебе понравилось... Хотя, если по существу, это я со зла разговаривался. Я, в общем-то, так не думаю. Я терпимый. А слова свои о твоей работе в Союзе назвал ерундой не потому, что тебя пожалел, боясь обидеть, а потому, что понимаю: требовать от других того же, что и от себя, я не имею права. Я же говорил тебе, что я самый талантливый. Я могу себе позволить быть «положительным». Того, что я имею, и так слишком много. Было бы бессовестно требовать похожих мыслей от других, от тех, которые не самые талантливые. Им надо делать карьеру. У меня свои радости, у них свои...

Он улыбается.

— Как это тебе?

— Ты, конечно, не промах. Но знаешь, мне нравятся самонадеянные.

— Ну вот, слава Богу. А то я опасался, что ты можешь неправильно истолковать. Хотя, по правде, это не самонадеянность. Я-то знаю, это трезвость, можешь мне поверить...

— Да-а, — Надя улыбается, — ты не промах, это точно...

Они подходят к парку, расположенному перед ее домом.

— Ну вот и дом, — говорит она.

— Как, уже?... — отвечает он. — Но я же тебя еще не поцеловал...

У него на мгновение от сказанного слова жутко и сладостно сжимается сердце.

Надя молчит.

— Можно, я тебя поцелую?

— Зачем ты спрашиваешь?

— Не знаю, — продолжает все еще говорить он, хотя уже прекрасно понимает, что этим все портит, что он просто трусит. Но Надя молчит, а молчание означает согласие. Деваться уже некуда, он решает наконец, наклоняется и целует ее.

Но то ли оттого, что он действительно об этом не думал и ему и без этого было с ней хорошо, то ли оттого, что он проговорил, проболтал, все решил на словах — поцелуй у них получается холодным и бесстрастным.

— Ты же не хочешь, — стараясь опередить ее, произносит он, как только отрывается от ее губ.

— Сейчас, — говорит она, облизывает губы и снова прикидывается к нему.

Так они стоят некоторое время. С головы у нее падает на снег шапочка. Он делает движение, чтобы поднять, но она удерживает его, прижимаясь к нему еще сильнее и как бы подчеркивая своим усердием, что в данной ситуации это несущественно и не должно быть замечено.

И эта демонстрация незначительности прошедшего окончательно все убивает. Весь их оставшийся пыл уходит на показуху. И хотя они продолжают стоять, обнявшись и прижавшись друг к другу губами, они это делают уже не от страсти и не от нежности, и даже не из признательности, даже не потому, что так надо, а лишь из желания что-то наверстать. Причем Надя старается изо всех сил. Родион ко всему еще и вспоминает почему-то фразу Бабеля: «Женщина как солома, она горит и без огня». А в общем, положение не из лучших.

Холодность Родиона несколько задевает Надю. Они размыкают губы. Родион нагибается и поднимает шапочку. Водружает ее Наде на голову. Опять целует ее, но на этот раз недолго, и говорит, обозначая ситуацию:

— По-моему, мы созерцаем.

Надя хочет исправить положение, целует его, и на этот раз они увлекаются.

— Нет, по-моему, мы не созерцаем, — говорит она, отдыхая.

— А что мы делаем?

— Мы ищем подходы.

— К постели?

— Нет. Друг к другу.

-- Просто у тебя хорошо работает нервная система, — опять, не подумав, сбалтывает он, и на этот раз Надя уже оскорбляется.

Он не хотел, чтобы у них все проходило лишь на уровне эротики, и хотел сразу дать ей это понять. Но она обиделась. Он почувствовал это явно. Она была зла.

Они пошли в сторону ее дома. Она чуть впереди, он сбоку и слегка приотстав.

— Я тебе надоел?

— Признаться, да.

— Так у меня всегда.

— Ты слишком много говоришь.

— Это мой порок. Я этим все порчу... Ты хочешь, чтобы я ушел? — Он чувствовал ее настроение безошибочно.

— Дело твое.

— Я понимаю, что ты этого хочешь и что самое лучшее сейчас — уйти. Самое уместное. Но я не уйду. Если я уйду сейчас, мы больше уже никогда не встретимся и нельзя будет уже ничего исправить. И все кончится, ведь так?

— Да, так.

— А я этого не хочу...

— Скажи, Родя, у тебя красивая жена?

— Не знаю. Мне нравилась.

— Родя, а может, тебе нужно просто увезти воспоминание? Московская девушка...

— Ты так обижена на меня?

— Нет, но я пытаюсь выяснить твои мотивы. Как сегодня Динка пристала ко мне в ЦДЛ в туалете: что мне от нее надо? Вот я и от тебя хочу узнать: что тебе все-таки от меня надо?

— Ничего не надо. Точнее сказать, наверное, все-таки ничего. Я еще не знаю. Это влюбленность, она от меня не зависит. Это природа, а к ней надо относиться с уважением, независимо от того, ну,

жен тебе в данный момент этот подарок или нет. И потом, она безотносительна к твоей жизни, ты можешь ее во внимание не брать, она на тебя никаких обязательств не налагает, ты вольна относиться к ней — к моей влюбленности — как захочешь, это ничего не изменит, она будет развиваться теперь уже обособленно от наших с тобой отношений, своим путем. Раз уж покатился этот ком...

— Ладно, Родя, говоришь ты хорошо. Расскажи мне лучше про свою жизнь.

— Так сразу?

— Расскажи что-нибудь.

— Я даже не знаю, с чего начать... Ну, мне тридцать три года, был в армии, после двух лет служил сверхсрочником — я служил в авиации, — был радистом на метеостанции, плавал рыбаком на сейнере. Это я так «романтически» объясняю свою биографию на семинарах. Начинать учиться в трех институтах, до армии и после, и так ни одного и не закончил, из последнего даже выперли, а оставались, в общем-то, одни госэкзамены. Нигде не печатают, хотя по большей части отмечают, что пишет человек хорошо. На семинары вот посылают, но это уже так, в порядке утешения. Все как-то не складывается, не судьба...

Они подходят к Надиному дому, и около своего подъезда Надя встречает очередную подругу.

— Оля! — искренне радуется она. — Здравствуй, Оля!

Подруга тоже довольна встречей. Она улыбается, подходит к ним, притягивая за поводок болонку.

— У тебя есть сигареты? — спрашивает Надя. — Пойдем в подъезд, покурим?

Оля бросает робкий взгляд в сторону Родиона.

— Познакомься, Оля, это Родя Самойлов, участник Всесоюзного совещания молодых писателей, он из Сибири, у него прекрасная жена, но ему нужен сувенир.

Родион молчит. Он сразу как-то устал, ему даже не хочется возражать.

— Оля, — говорит девушка.

— Родион...

Он покорно плетется за девушками в дальний подъезд и стоит с ними рядом, пока они курят и болтают о каких-то своих дамских делах. Всплывает в их речи какой-то Рыжов, о котором Надя отзывается:

— Это тот мудака, который в прошлом году целый день катал меня на машине и так и не смог трахнуть?..

Оля опять косится в сторону Родиона.

— Ничего, ему полезно, он писатель, — говорит Надя. И обращаясь к Родиону: — Слушай, Родя, как разговаривают московские шлюхи.

Родион молчит. Вид у него пасмурный, он злится.

Оля делает какой-то протестующий жест, и Надя улыбается:

— Извини, Оля, это я только про себя.

Они вновь выходят на улицу и идут в сторону Олиного подъезда. Останавливаются, чтобы отправить домой болонку.

— Еще бы вот Родю проводить, ты не хочешь? — говорит Надя. — Понимаешь, ему нужно увезти воспоминание, московскую девушку. Ему все равно кого, проводи его до метро...

— Заткнись, Надя, — устало говорит Родион.

Оля не глядит на них, чувствуя, что присутствует при соре.

— О! — произносит Надя. — Это уже слова не мальчика, а мужа!

— Там, у метро, много девушек, — не обходится Оля без женского солидарного ехидства. — Можно там найти.

— Оля, пожалуйста, не надо хамства. Достаточно мне и одной.

— Одной кого? — уточняет Надя, но Родион не обращает на нее внимания.

Девушки опять заводят какой-то несущественный разговор. Но говорят недолго. Сама Надя заканчивает его.

— Ладно, Оля, ты извини меня, но я все же провожу Родиона до метро.

— До свидания, — отвечает Оля, и Родион чувствует, что она прощанием с ней, в общем-то, слегка задета.

Оля уходит.

— Конечно, тебе бы следовало за такие слова дать по физиономии, — говорит Надя.

— Не думаю... Да ты этого и не сделаешь.

— Это почему?

— Потому что в данной ситуации мои слова, напротив, радуют тебя, они тебе приятны... Я, признаться, и сказал-то их, зная наперед, что они именно так на тебя подействуют.

— А ты, оказывается, умный...

— Ты еще не знаешь, до какой степени.

— Это до какой же?

— Да вот ты думаешь, что я какой-то ловелас. А ведь я серьезный человек. Я вот знаю даже и еще дальше, знаю, что эти слова, как бы и для чего бы они ни были сказаны, в то же время и искренни, на них и в самом деле строится мое чувство. Я просто многое вижу наперед.<...>

— Но признайся, Родя, ты ведь все-таки самоутверждаешься. Я красивая женщина, вот ты меня и добиваешься.

— Ты полагаешь, что можешь принести мужчине чувство победы?..

Надя даже теряется от такой наглости. Потом она поднимает на Родиона взгляд.

— А ты не переусердствуешь?

— Вообще-то могу, меня часто забрасывает.

— А знаешь, — вдруг говорит Надя, — мне с тобой хорошо.

— Правда? Привыкла?

— Приучил... Вернее даже сказать, приручил. Мне даже захотелось тебя поцеловать. Но это потом, а то ты все испортишь. Расскажи-ка мне лучше еще про свою жизнь. Кем ты работаешь? Ты говорил, ты психиатр?

— Не совсем. Только должен был им быть, я ведь институт не закончил. А работаю в деревне, фельдшером.

— Ой! Какая прелесть! У меня еще никогда не было деревенского фельдшера... — И снова пряча улыбку, переходя на более серьезный тон: — Ладно, а что у тебя случилось в институте?

— Выгнали. И я неточно выразился, что работаю фельдшером, я официально на работу не оформлен, просто в деревню хорошо сбежать. Спасает от всего.

— Выгнали тебя, конечно, тоже на принципиальной основе?

— Наверное. У нас с ректором не совпали взгляды на жизнь.<...>

— Ну, понятно. Родя, с тобой можно идти в разведку.

— Я уже думал на эту тему. Пожалуй, можно.

— Нет, положительно ты не промах. И ты не самонадеянный, ты просто маньяк. Тебя только могила может придержать...

Они снова целуются. Но на этот раз уже не ждут от поцелуя ничего сверхъестественного. В их отношения начинает закрадываться нечто от брата и сестры.

— Знаешь, Родя, ты принеси все-таки завтра свою рукопись. Может быть, я смогу ее кому-нибудь показать.

— Зачем?.. Еще больше усугублять наши разногласия?

— Но у меня правда есть много знакомых критиков.

— Критики мне как раз совершенно не нужны. Их мнение я заранее знаю.

— Ну, я прочту хоть сама.

— Если только сама... И то... Тебе ведь может не понравиться, и это снова отразится на наших отношениях. Но я подумаю. Завтра решим.

Расстаются они около ее подъезда, и так как муж на ночном дежурстве, а с ребенком бабушка, то только в первом часу ночи.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Утром он звонит ей домой рано и с желанием высказать опять пришедшую ему в голову ночью мысль, что она сама не знает, что в ней хорошо. А хорошо как раз то, что, несмотря на всю ее прагматическую недоверчивость и столичную искушенность, многоопытность и передовой авангардизм, она носит в себе истинные черты наивности и провинциализма.

Он спешит поделиться с ней этим, но дома уже ее муж, пришедший с дежурства. И Надя, чтобы Родион не успел сказать чего-нибудь лишнего, сразу говорит, шутливо предупреждая:

— Вот тут рядом стоит мой муж с ужасным лицом и говорит, что тебя зарежет.

— Так, а что мне делать? — спрашивает Родион.

— Ты принесешь мне сегодня рукопись?

— А надо? — не то говорит он.

— Приноси вечером. Днем я не могу, у меня простыл ребенок...

И они прощаются, договорившись встретиться в девять часов, а до этого времени у Родиона свободен весь день.

До обеда он пробыл на последнем рабочем дне совещания, послушал разбор рукописей оставшихся семинаристов, выяснил, кому из участников повезло больше других, посмотрел на завидную суету вокруг них, выслушал поощрительные и подбадривающие слова руководителей в адрес несчастливцев, найдя среди них и себя.

После обеда в библиотеку не поехал, ему было не до нее, мысли у него были заняты только Надей, а теперь в них, после утреннего звонка, еще и вплетались какие-то тревожные, мучающие и не дающие покоя мысли о ее муже.

Пойдя после обеда с целью как-то себя занять до вечера к своим бывшим друзьям-землякам, теперь живущим в Москве и оканчивающим один ВГИК, а другой Строгановское училище, он со всем пылом и страстностью рассказывал им о Наде: о внешности, о красоте ее, о том, что она вообще собой представляет, о своей влюбленности, закончив свои долгие пространственные объяснения словами об этом ее не как надо. Чем вогнал ребят оконча-

тельно в растерянность. Смущенные, сбитые с толку, но увлеченные вслед за ним его рассказом, они, поначалу относясь снисходительно к этим его дилетантским московским «похождениям», вдруг в полной для себя неожиданности начали сочувствовать и искренне сопереживать ему. А когда провозжали его, совсем немного успев поговорить о своем, под все тот же аккомпанемент его рассказов о Наде, то уже смотрели на него с явно оформившейся завистью.

— Старик, — говорили они ему на прощание, не забывая, как бы там ни было, о том, что любовь — это не вздохи на скамейке, — если тебе понадобится квартира, то днем нас тут не бывает.

— Да бросьте вы.

— Ну, если нужно.

— Ладно, я как-то об этом совсем не думал.

— Но мы за тебя подумали. Вздохи вздохами, но жизнь есть жизнь. Ключ под ковриком. Чем-то должно это у тебя все-таки кончиться, что-то тебе все же от нее нужно.

Родион улыбался.

— На вас мне уже не хватит пороку, доказывать и убеждать...

С Надей Родион встречается у метро, как они договорились, у входа. И первое, что она говорит ему, на этот раз сама, — это то, что они, наверное, на самом деле немного похожи и подходят друг другу.

— Знаешь, — говорит она, — это не так часто бывает: ты хороший человек. Я к тебе привязалась. Я сегодня подумала... Мне с тобой интересно. Я в этой писательской среде... — И тут она произносит слово, каким перебрасываются маленькие ребятки где-нибудь на выезде всем классом на природу, у реки, после того как сварили уху из пойманных ими ершей, сзывают друг друга к костру, крича во все горло: «Вы уху ели?... Ты уху ел?... Уху ела?...» Кричат во весь голос, в восторге, дразня своего преподавателя, и ничего нельзя им на это заметить. Так вот она тоже говорит: — Я все время в этой писательской среде и ото всего этого уже охуела. А ты не такой, ты на них не похож.

Он молчит, растроганный и благодарный до нежности, пусть даже она и высказала это свое признание совершенно невозможным образом, а может быть, и скорее всего, даже именно благодаря этому... Он даже откашлялся.

— Ты надолго вышла? Мы погуляем? — Он берет ее под руку.

— Вообще-то я на минуточку. Но если схожу в аптеку, то часа два могу дома не появляться.

— Что муж?

— Ревнует. «Это ты к своему Самойлову пошла?..»

Они идут на троллейбусную остановку. И тут происходит еще один важный эпизод. Когда она отходит к телефонной будке, чтобы позвонить домой и сказать, что она задержится и съездит в дежурную аптеку за лекарством, он поджидает ее недалеко от остановки. Он видит, как она выходит из-за угла кинотеатра, где звонила, смотрит, как она возвращается, глядя на это ее не как надо, и вдруг возникает ситуация, когда он неожиданно смущается и предает ее. Рядом на остановке стоят люди, и все они тоже обращают на это не как надо внимание, а она идет к нему и еще даже делает издали ему ручкой. И он, как бы видя ее первый раз со стороны, так внезапно, будто выпадает из

какого-то обычного состояния, вдруг трусит и немножко делает вид, что ее не узнает. Он так и говорит ей, когда она подходит:

— Я тебя без вчерашней шубки и не узнал.

А как не узнать... И она это поняла и все почувствовала и запомнила. Впрочем, когда они уже были рядом и он снова встретил этот открытый милый взгляд, окунулся в него, опять для него будто упал какой-то отделяющий их ото всех занавес. И он почувствовал, как его опять к ней влечет, как он, несмотря ни на что, любит ее... И занавес этот был уже не занавес, а каменная стена.

Все же она, помня его предательство, после очередных его нежностей и ласковых слов произнесла:

— По-моему, ты все же неискренен.

— Знаешь, — сразу признался он, — я просто застенялся тебя.

И этим в очередной раз обезоружил ее полностью.

Они идут по улице, и Надя уже перестает сопротивляться, поддается его натиску, опять не устояв перед его откровенностью, перестает упорствовать, полагается на него и покоряется его воле всецело. Заражается тем, как он глядит на нее, как прижимает к себе ее руку, как опять не обращает внимания ни на кого вокруг. И сама становится такой же.

Они садятся в переполненный троллейбус. Вместе с хлынувшей из кинотеатра толпой они вливаются в него через дверь, их заталкивают на заднюю площадку и оттесняют в угол, ставя лицом друг к другу.

— Ты принес рукопись? — спрашивает наконец она то, за чем вышла.

— Принес, хотя до сих пор не уверен, что нужно тебе ее давать.

— Что за проблемы у тебя, конечно, нужно.

— Опасно. Обидно будет, если тебе не понравится, потому что понравиться тебе мне очень хочется, тем более что я знаю: тут все — хорошо, просто отлично. Но я понимаю, у каждого свой вкус, и на всех не угодишь.

— Родя, я думаю, мне понравится, уже хотя бы потому, что ты мне сам нравишься. Я даже уже хочу это прочесть.

Троллейбус останавливается у светофора, от толчка на них наваливаются люди и прижимают друг к другу. Надя покорно принимает к нему, и он чувствует, что сейчас она в благодарность за то, что его глаза больше не бегают и он уже не смущается, как в самом начале, с любовью смотрит снизу ему в лицо. Боже мой, когда не заметно этого ее несчастья, как она красива, какие прекрасные у нее глаза, как они открыты и добры... И такой вокруг них ореол обособленности, влюбленности, такое у него сумасбродное, обожающее выражение лица, так она очаровательна с этим поднятым вверх взглядом, что на них начинают заглядываться пассажиры.

Наконец народ рдеет совсем, и они могут сесть.

— Ну, давай что принес.

— Ладно, бери. Будь что будет... Не говори только потом, пожалуйста, о литературе. Прошу тебя. Типа этих ваших слов: «рассказа нет», «профессионально», «композиционно»... То, что ты это прочтешь, для меня так же, как, скажем, если бы у нас с тобой было, например, это, что ты называешь таким безобразным словом «трахнуть». Для меня факт прочтения — нечто подобное. Слишком много тут для меня содержится. Важного для меня. И



достаточно тебе, если я спрошу: «Хорошо тебе было?» — ответить: «Да, хорошо». И все, больше ничего не надо. Больше ничего не говори... Это при условии, конечно, что действительно будет хорошо.

Теперь уже Надя в свою очередь несколько сконфужена и молчит, они оба молчат, понимая, что сейчас иносказательно объяснились друг другу в любви...

Они выходят на остановке около аптеки. Пассажиры провожают их взглядами. Надя протягивает на выходе Родиону руку, и он бережно подхватывает ее всю. Пассажиры с искренним доброжелательством смотрят им вслед.

Надя уже не спрашивает его в этот вечер, что ему от нее надо, она уже не проверяет и не вычисляет его, она сегодня тиха и покорна, она уже верит сегодня его любви, видит ее.

Он целует ее при подходе к аптеке, первый раз за весь день и внезапно, от избытка нежности. И так трогательно и бережно, что в груди у него рождается не то ласка, не то боль.

Они покупают за неимением нужных лекарств в аптеке аспирин и возвращаются обратно. Расставаться им не хочется.

— Тебе уже уходить?

— Мне надо в одиннадцать.

— Но ведь уже одиннадцать!

— Ну еще можно немного. Мы купили лекарство, есть оправдание. Еще можно полчаса.

И оттого, что у них есть еще полчаса, радуются, как дети. Он прижимает локтем ее руку к себе, и они идут рядом. И час, и два...

Расстаются они опять около ее подъезда и опять просочив все обещанные сроки.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Четвертый день был предпоследним. Для Родиона он выдался нерадостным. Все сложилось так, будто кто-то сознательно взялся в очередной раз

ему доказать, что счастье не может быть долговечным.<...>

Вечером, когда Родион встретился с Надей, она, вернувшаяся с какого-то вечера поэзии, со встречи с читателями, выглядела совсем иной, чем за день до этого, и сразу начала показывать себя: говорить о ее с мужем жизни на Арбате, где они прожили два года одни, без родителей, в трехкомнатной квартире, «и вся литературная Москва — у меня дома!», рассказывать о том, какой она взяла псевдоним, и о том, что и как принято в их кругу, то есть в кругу, естественно, художников, артистов и музыкантов, на что Родион, долгое время слушая ее в недоумении, наконец заметил:

— Надя, ты себя компрометируешь. Что с тобой случилось? Ты будто с цепи сорвалась.

Но Надя только отмахнулась: «А, не мудачь мне голову» — или что-то типа: «Это меня не фачет», — в духе своей самой коронной роли в стиле московской богемы.<...>

— Ты читал повесть Маркеса про малолетнюю проститутку, к которой мужчины выстраивались в очередь? «Она любила его после всех, а когда у него кончились деньги, любила еще до самого утра совершенно бесплатно...»

Ну и в довершение всего оказалось, что Надя прочла его рассказы...

— Я прочла твои рассказы, — сказала она, после чего Родион сразу как-то погрузнел.

— Ну и что? — спросил он.

— Отвечу, как ты и пресил. Мне было хорошо. Но... вот три твоих последних рассказа...

Родион опустил голову, ожидая разговора «по существу», и не ошибся.

— Они не соединяются. Они разноплановы, и эпиграф здесь ничего не спасает. Они не могут быть триптихом. Совершенно... И еще... «Факт» — он слишком сумбурен. По-моему, тебе следует заняться драмой, и не такой сентиментальной, как в твоём «Наваждении», а настоящей...

— Ладно, Бог с ним со всем, — сказал Родион. Ему хотелось перевести разговор на другую тему. Но Надя еще не закончила.

— И потом, тебе надо пробиваться.

— Да ничего мне не надо.

— Ты знаешь, вот Гриша циник, но он не скрывает, что он циник. Он хочет печататься, хочет вступить в Союз, хочет стать писателем. И честно говорит об этом...

— Ты подружилась с Гришей?

— Да, он тоже был на вечере. Он его, собственно, и устраивал. От редакции журнала. И меня пригласил. Кстати, он сказал, что это я все сделала позавчера для того, чтобы ты мог уйти из ЦДЛ со мной, а он ушел с Диной...

— Да, это интересная мысль. А что теперь ему от тебя нужно?

— Как тебе сказать... Не знаю. А я, наверное, все-таки шлюха. С вечера я ушла с Гришей, мы пошли в ЦДЛ, на обратном пути из ЦДЛ я встретила своего мужа. Он шел меня встречать. Я познакомила его: «Это Гриша». Муж проводил меня до метро: «Ты такая, что у меня даже руки опускаются» — и поехал на дежурство. А я к тебе... Нет, я положительно шлюха.

— Но это тебя не очень расстраивает, мне так думается. Кажется, даже доставляет удовольствие.

Надя улыбнулась.

— Тут ты прав. А вообще-то мы с Гришей просто друзья.

— Это теперь так называется?

— Нет, правда.

— Ладно, меня не надо успокаивать. Я ревновать тебя все равно не стану. Этого я уж себе не позволю. Это будет для меня уже слишком, и так хватает всего... Вернемся к тому, что ты говорила. Значит, если честно признаться, что ты циник, ты этим сразу завоеуешь симпатию. Смотри как легко.

— Такой человек по крайней мере не лицемерит.

— А я, стало быть, лицемерю.

— Я часто замечала, что все те, кто поначалу говорит, что им ничего не надо, потом очень даже падки на все то, что им идет в руки, и уже ни от чего не отказываются.

— Надя, при том уклоне, который существует в моих рассказах, мне уже заранее гарантировано то, что мне ничто не пойдет в руки и ни от чего не придется отказываться. Тут я предохранен на сто процентов. И потом, не желая стать писателем, я не хочу им стать в твоём смысле, который ты сейчас вкладываешь в это слово, в Гришином смысле. А печататься я хочу. Я не хочу пробиваться.

— Нетленка на нобелек?

— А что это?

Надя вдруг смущается и старается не отвечать.

— Нетленка — это мне знакомо. Но что такое «нобелек»?

— Ну, нобелек — Нобелевская премия, — неохотно разъясняет Надя.

— Что ж, я тебе так сразу и представился.

Надя опять несколько проникается к Родиону расположением.

— Ты ведь правда хорошо пишешь.

— Спасибо.

— А вот Гриша сегодня читал свои стихи, и надо сказать честно, что он совершенно бездарен.

— Так часто бывает.

— И, наверное, поэтому говорит, что для того, чтобы печататься, надо использовать разные рычаги и что иначе ничего не получится, что просто с талантом никуда не пробиться, что таланта вообще как такового нет. Есть только обыкновенная жизнь, есть книжная индустрия, есть связи, всевозможные знакомства, спрос, рынок, поток — и никаких гениев! Гениев, талантов, говорит, миллионы, печатаются же единицы, а рукописи остальных гениев десятки лет лежат в редакциях, ждут очереди. Хочешь печататься — надо продаваться.

— Тут, надо ему отдать должное, он прав.

— И ты так считаешь? Так что, никакого выхода? Только так?

— А что, у тебя уже встал вопрос так остро?

— Родя... Дело не во мне. Каждый считает, что может чего-то добиться своим собственным путем, что в конце концов его заметят, оценят, что способности вывезут. Каждый надеется, что он есть, а человека нет и таланта нет, каждый есть ровно то, что о нем скажет критика и напишет пресса, в которой тоже все определяется личными отношениями, симпатиями, антипатиями, тем, что и сколько кто кому должен. То есть опять той же жизнью — простой, обыкновенной, маленькой. И ведь нельзя сказать, что это неубедительно, ведь так?.. Неужели ничего нельзя изменить и нет никакого выхода? И обязательно надо приспособливаться?

— Ты преувеличиваешь. Выход есть. Можно ведь не печататься. Вот я не печатаюсь, и у меня всех этих проблем не возникает.



— Родя, ну ты меня подавляешь. А попроще как-нибудь нельзя?

— Тут главное решить, чего ты конкретно хочешь: или писать, или получить признание, — и сразу все становится на места, все делается очень легко.

— После твоих утешений хочется вообще пойти и утопиться, — произносит Надя опять с интересом и уважением к нему. Но как только она настраивается на прежнюю симпатию, она тотчас чувствует и его отношение к себе.

— Ты меня все еще любишь?

— Да, — лжет он.

— По-моему, ты все-таки натаскиваешь себя на влюбленность.

— Ну да, это ты хорошо выразилась. Признаюсь, бывает иногда. В том числе и когда ты плохая.

— Интересно, из каких это соображений?

— У меня ведь осталось всего два дня, мне некогда особенно привередничать, и я уж потерплю в ожидании, когда ты станешь снова хорошей. Ведь ты сейчас не то, что ты есть на самом деле.

— Только не надо выдумывать и делать из меня что-то свое. Я есть то, что я из себя представляю, а не то, что ты воображаешь.

— Ты есть то, что я о тебе говорю.

— Ну уж себя-то я знаю лучше.

— Ничего ты не знаешь. Во-первых, ты добрая.

— Я злая! — Надю от такой чувствительности просто возмущение берет.

— Ты добрая. Ты ничего о себе не понимаешь. Ты простая, отзывчивая, милая баба, а строишь из себя черта в юбке.

— Родя, в школе я была злючка страшная.

— Но то в школе, все же меняется, ты вышла из переходного возраста, сейчас ты иная... И потом

еще вот... Чтобы уж с этим разделаться и больше уже не возвращаться. Я сегодня подумал: у нас осталось всего два дня, и я должен, как уважающий тебя мужчина и, наконец, просто как порядочный человек, как джентльмен, скажем даже так, чтобы не обидеть женщину отсутствием этого предложения, обязан сказать, что у меня есть ключ от комнаты очень хороших моих знакомых, живущих в коммунальной квартире, которая сейчас пуста. Как ты к этому отнесешься? Пойдем?

— Нет.

— Я тебя не буду уговаривать, это было бы слишком пошло. Я тебя спрашиваю сразу: пойдем?

— Нет.

— Ну что ж, нет так нет. Я вообще-то предполагал, что у нас примерно так и будет. Что ты воспримешь мое предложение именно таким образом, будто я наконец себя показал, а ты наконец меня поймала. Поэтому я уже заранее согласен с тем, чтобы у нас этого вообще не было. Пусть этого не будет принципиально, чтобы оставить в чистоте то, что у нас есть. И в порядке доказательства. Чтобы тебе доказать. В конце концов, это не такая уж важная вещь, без которой нельзя было бы обойтись, давай убедим себя, что это вообще пустяки. Это как хорошее вино, которое, конечно, лучше пить в приятной компании, чем в неприятной или одному. Но вино все равно остается вином, и впечатление о нем одно. Поэтому давай так: когда у тебя будет это с кем-нибудь другим, лучше всего, конечно, с мужем, и когда тебе будет хорошо, вспомни про меня, выпей за мое здоровье, и станет так, как будто это у нас было.

Надя задумывается.

— Это какая-то литература.

— Согласен, — смущенно признается Родион. — Есть грех.

— Но что-то все-таки есть. Признаться, Родя, меня больше всего смутила коммунальная квартира. Коммунальная квартира — это не для меня...

— Это ты начинаешь постепенно сдавать позиции по традиционному образцу?

— Нет, но если меня попросить... Я вообще-то, как ты сам сказал, добрая, Родя. Я иногда думаю, что могла бы жалеть всех, как в этой повести Маркеса.

— Господи, опять ты за свое... Надя, я не хочу, чтобы у нас это происходило на уровне какого-то элементарного спанья. И потом, мы уже все решили, у нас этого не будет.

— Ну, знаешь, по-твоему, мне сразу надо было задрать юбку? Так, кажется, тебе нравится, судя по твоим рассказам. Но я, к сожалению, в брюках.

— Во-первых, это нравится моему герою. А вторых, чтобы тебе не было вправду обидно, я признаюсь, что именно сейчас, когда я сказал тебе, что у нас этого не будет, я понял, что хочу тебя смертельно. У меня даже дух захватило от обиды и желания.

— Родя, ты ненормальный.

— Наверное, но тут уже ничего не поделаешь. Как говорят в психиатрии, тут поможет только аминазин.

— Поцелуй меня тогда хотя бы в порядке компенсации.

И они целуются. И в поцелуе у них теперь уже и страсть, и томление, и мучение. Он даже почувствовал ее язык.

— Наденька, я этого не вынесу.

— Родя, лапочка, — говорит она, — ты меня всю

совершенно изломал...

Но кончилась эта встреча все равно так же, как и началась: «ласкать не умешь», «сколько приемов ты знаешь?», «надо бы тебя все-таки обольстить»... Стала представлять из себя московскую «штучку», опять все свела к сексу и снова, и уже окончательно, разонравилась ему.

Когда он пришел вечером в номер, то бросился, не раздеваясь, на покрывало и пролежал без движения часа два. Ночь он не спал, а утром ходил по гостинице мрачнее тучи...

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

У Родиона с Надей оставался еще один день, в течение которого уже не случилось ничего, что могло бы как-то изменить или что-то добавить к их отношениям, кроме того, что Родион весь день провел в переживаниях и мучительном расстройстве по поводу полной испорченности и незавершенности их любовной истории, а Надя, сама позвонив ему во второй половине дня и извинившись за свое поведение предыдущим вечером, предложила встретиться и на этот раз показала себя опять с лучшей стороны, подтвердив существование того, что так влекло к ней Родиона, заставив его умилиться и восхититься ею снова.

Родион почувствовал себя совершенно опрокинутым и побежденным, когда Надя в маленьком окраинном, переполненном веселящимися людьми ресторане, в который они, голодные, попали уже вечером после долгого гуляния по улицам вдвоем, среди этой бурной и чуждой жизни, от которой Родион себя уже отучил, отказавшись от нее навсегда и заставив себя относиться к ней равнодушно и снисходительно, позвала его танцевать. Родион сначала даже оторопел, не поверил своим ушам, до того это было для него неожиданно — что она при всем том, что собой представляет, еще и танцует... Что не стесняется танцевать... А она совсем подавила его словами: «Я хорошо танцую». И когда он увидел, что она действительно танцует без всякой робости и смущения, естественно и просто, опять как будто так и надо, он понял, что это она ему еще и преподала урок. Последний урок, впечатлений о котором ему хватило потом на многие годы, чтобы размышлять, ломать голову и сопоставлять. Потому что это означало, что и в том мире, чуждом и им отвергнутом, тоже, оказывается, можно жить, не считая себя инородным...

Они целуются последний раз в такси по дороге к Надиному дому, отметив каждый про себя, что это ведь их последний поцелуй. Последний раз Родион провожает ее домой. Последнее прощание...

Ну, и был у них еще один день, вернее, утро шестого дня.

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА

— Ты еще спишь?

— Да, ты меня разбудил звонком.

— Лежишь под одеялом, тепленькая?

— Да, Родя, я, кажется, уже жалею, что у нас с тобой ничего не было.

— Не говори... Но, может, это и к лучшему. Все имеет свою обратную сторону. Привязались бы, страдания бы начались. А так по принципу: если у вас нету тети, вам ее не потерять. Знаешь слова?

— Знаю.

— Вот. И думайте сами, решайте сами... И по-

том, сохранили верность, тоже небесполезное мероприятие.

— Родя, скажи наконец, что это все-таки было?

— Ты все мучаешься?.. Знаешь, я тоже сегодня подумал... Получается, что в наше время, чтобы доказать, что ты действительно что-то искренне любишь и в это что-то действительно искренне веришь, чтобы доказать это даже самому себе, надо от этого чего-то отказаться. Что бы там ни было, хоть жизнь, хоть твоя работа, хоть любовь. Я не могу сказать, что у нас было. Влюбленность — это как хмель. Наутро проснешься — и ее нет. Она кончится, ничего из нее не получится, но это, видимо, не значит, что надо ее избегать, и, видимо, мы правильно сделали, что не стали против нее идти. Тут уж, согласишься, у нас половинчатости не было... Проиграем уж ее до конца. Она еще будет продолжаться некоторое время, я еще буду ждать от тебя писем и по несколько раз в день бегать к

почтовому ящику, а проходя мимо него, не зная, как унять сердце... Ох, я уже предвижу, как все это будет... Так что не отказывайся, отвечай мне на письма, потерпи меня еще до конца, пожалуйста.

— Хорошо, Родя, я потерплю... Я буду по тебе скучать, я к тебе уже привязалась, ты меня приручил. Я вот даже начинаю вслед за тобой говорить сентиментально...

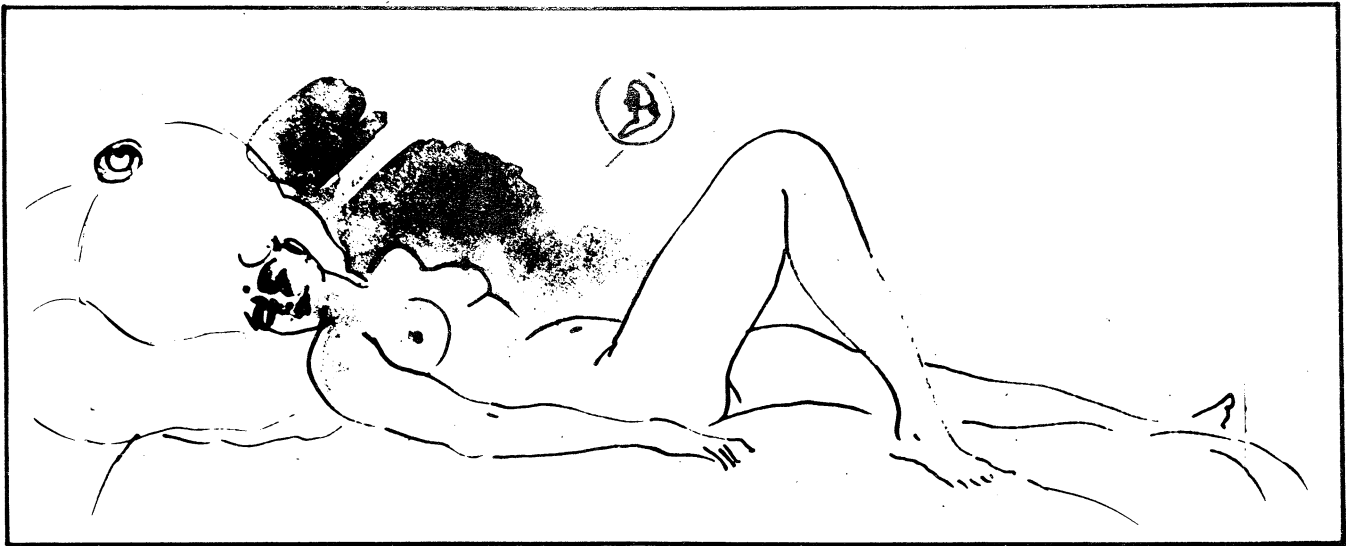
— Ладно, Наденька. У меня самолет через два часа, автобус отходит. До свидания, любовь моя!

— О, завал!..

— Не поминай меня лихом...

В свой город он прилетел в пять часов вечера, через час был уже дома, в своей семье.

...А ночью, с женой в постели, что-то в нем, Бог знает, душа, наверное, кричало, корчило и плакало от обиды...



ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К НЕИЗДАННОЙ КНИГЕ¹

Хорошо Эдичке Лимонову, когда есть круглая попка и «фигурка» и нарциссическая уверенность в своей семидесятих годов славе, в своем таланте и в том, что твои стихи читают в России (сколько он тогда распространил рукописных экземпляров, полторы тысячи? Тогда, конечно, читают...). Хорошо, когда есть жена-красавица (кстати, как стало плохо-то, когда ее отняли, даже сразу полевел), хорошо, когда, воспользовавшись случаем, слинял на Запад, — и ничего не свербит, и смог уехать, и не хочется видеть родные места, и легко можешь адаптироваться в любом национальном человеческом муравейнике.

Хорошо Александру Солженицыну, когда считаешь себя мессией, вместилищем абсолютно всей правды, а борьбу, ведущуюся лично с тобой, воспринимаешь как борьбу с правдой и добром вообще и, как следствие, считаешь, что страна, плохо с тобой, мессией, обошедшаяся, нуждается в отлучении, перевоспитании и коренной перделке.

Хорошо даже, наверное, было, прости меня, Господи, покойному Андрею Сахарову, когда он знал, что его все равно никто не в состоянии полностью лишить слова, что он настолько известная в мире личность, что совсем безвестно

похоронить его нельзя, совсем не заткнуть, что всегда люди будут о нем помнить, за его освобождение ратовать, его мнение стараться узнать, мыслей и советов от него ждать, что слово его пробьет все заслоны и все его подвижничество не останется напрасным, не останется неизвестным...

А вот что делать тем, у которых всего этого нет? Когда тебя никто не знает и никому ты не нужен. Когда, сколько ни барахтайся, все равно никакой волны произвести не сможешь. Когда играть роль запрещенного салонного поэта тебе претит, когда удирать тебе не хочется, когда страну, в которой родился, ты любишь, и любишь такую, какая она есть, именно такая она есть, а не помытую, выскобленную и вычищенную в воображении. Любишь свое небо над лесом и место, где ты рыбачил и ловил раков в детстве. Когда нет ни рожи ни кожи, ни круглой попки, ни ста тысяч долларов на рекламу с в о е г о «Эдички», ни нарциссической уверенности в своем таланте — нет ничего.

Что таким делать? Что таким делать в этой всеми заклеянной и проклятой стране? Сейчас, вчера, завтра, всегда?

Боже мой, оставаться человеком...

1992.

Алексей МИХЕЕВ.

¹ Меня смущает язык «Предисловия...», однако по настоянию автора я вынужден его сохранить. (Прим. редактора.)

КОНСИЛИУМ "ВСТАНЬ И

Из стенограммы заседания клуба «Московская трибуна» 19 января 1992 года

Основанный А. Д. Сахаровым дискуссионный клуб интеллигенции «Московская трибуна» существует с 1988 года. Его история неотделима от краткой освободительной эпохи, все значение которой нам еще предстоит когда-нибудь оценить. Не будучи ни партией, ни советом экспертов, не обладая никакими официально признанными полномочиями, клуб собирал на своих заседаниях лучших ученых, блестящих ораторов и публицистов, виднейших политиков. Не задерживаясь на перечислении широко известных имен, хотелось бы назвать двух женщин, бескорыстно принявших на себя организационные хлопоты и обеспечивших «Московской трибуне» жизнь и добрую репутацию — В. А. Чаликову и С. И. Аленикову. Обоих уже нет с нами. Как нет и А. Д. Сахарова, и С. В. Каллистратовой — своим присутствием эти светлые личности облагораживали дела и помыслы интеллигенции, рядом с ними не было протора для глупости, дешевых амбиций, политических интриг...

Смерть людей, счастливо сумевших целиком выразить себя в своем времени, пунктиром прочертила границу между эпохами: той, которая на наших глазах завершилась, едва начавшись, и той, которая пришла, но еще не имеет названия. «Московская трибуна» вместе со всей страной переживает сейчас трудные времена. Читатели могут убедиться в этом сами, просмотрев публикуемый журналом отчет.

Председательствует А. А. Нуйкин.

Председатель. Повестка дня вам известна. И для начала я позволю себе взять слово, чтобы выразить позицию правления «Московской трибуны», обозначить круг вопросов, которые нас волнуют в первую очередь. Главное на сегодняшний момент, конечно, экономическая реформа. Эту реформу, которой мы, может быть, добивались уже не одно десятилетие, мы обязаны поддерживать, двигать, поправлять, направлять, все что угодно, но только не саботировать, только не сбивать ее с пути, не вызывать по отношению к ней нигилизм, что, к сожалению, наблюдается и со стороны ряда политиков, и со стороны многих органов печати. В этот исторический, уникальный момент мы, видимо, должны, как представители прессы и общественного мнения, осознать, что обстановка изменилась радикально и что мы должны поддерживать в народе и настроение, и уверенность в достижимости конечных целей. В то же время, если взять наше телевидение, в том числе считающуюся наиболее демократической вторую программу, сплошь и рядом слышишь ироничный комментарий, с поддевкой какой-то, скепсисом, недоверием к тем, кто взвалил на себя тяжелейшую ношу. Это недопустимо. Мы уже начинали разговор об этом, думаю, что сейчас самое время его обострить, чтобы наше мнение стало известно и органам печати, и радио, и телевидению, которых мы, по-моему, должны сейчас образумить, поправить. И я не вижу в том, что мы выразим свое

мнение, никакого угодничества перед властью. На прошлых наших заседаниях мы не раз подчеркивали, что наша поддержка реформ и тех политиков, которые взяли на себя ответственность за эти реформы, не означает, что мы просто послушные, покорные комментаторы того, что делается. У нас была, есть и, надеюсь, будет и впредь своя достаточно четкая позиция.

Последние события, мне кажется, позволяют нам высказаться бескомпромиссно по целому ряду фактов. И это будет не подрыв престижа реформ и руководителей, взявшихся за них, а, наоборот, поддержка, подталкивание именно в ту сторону, в которую они иногда робеют двигаться и этим ставят под сомнение достижимость фундаментальных целей. Нужно, наверное, нам с радостью констатировать, что народ, на удивление и вопреки многим мрачным пророчествам, оказался на гораздо большей высоте, чем наши политики и журналисты. Шахтеры, горняки сейчас, когда новая экономическая ситуация буквально взяла их за горло, не требуют снижения цен и дополнительной колбасы, они требуют возможности свободно работать и зарабатывать. И даже те, кого мы привыкли считать обывателями и всегда с недоверием к ним относились, запаслись терпением, они понимают, что это надо пережить, и проявляют готовность. Но в то же время некоторые наши политики впадают в панику от визита в магазин (видимо, первого за долгие годы), где с удивлением обнаруживают цены, которые, в общем-то, еще не так высоки, как могли бы оказаться, и после этого начина-



разговор в пути



, или
ХОДИ"



ют бить отбой, требуя смены правительства, сохранения колхозов и военно-промышленного комплекса.

Если есть сейчас смысл (не знаю, что будет в будущем) ставить вопрос о недоверии, то, видимо, надо ставить вопрос о недоверии Верховному Совету, который в боевую, трагическую минуту ведет себя недостойно. По крайней мере его руководство.

Даже к Ельцину, которого мы по-прежнему поддерживаем и сплываемся вокруг него, в общем-то, появились претензии, которые надо сразу вслух заявить. Думаю, что встречи на местах не только с народом, но в основном с местным чиновничеством несколько сбили дыхание крупному нашему политик, и его заявление насчет решения немецкой проблемы мне кажется просто позорным. Или когда человек, от которого зависит ход всей реформы, начинает кого-то там снимать, на какую-то колбасу поправлять цену, это тоже проявление паники, неуверенности и желания потрафить определенной части населения.

Не буду долго занимать ваше время. Все мы, я думаю, достаточно четко следим за ходом событий, и снова и снова приходится напоминать, что уже сев на юге вот-вот начнется, а земельная реформа все еще буксует. И передавать реформу, как сейчас это делается, в руки стародубцевых на местах — просто издевательство.

Я не пробовал здесь давать какой-то анализ реформ, тем более что Лариса Ивановна Пияшева делает об этом сейчас доклад. Я думаю, что всем нам будет интересно услышать от человека, который находится в гуще событий, что там происходит на самом деле.

Еще должен сделать оговорку по поводу некоторых несостоявшихся наших надежд. Собирался и клялся Бурбулис, что придет сюда, но, как вы знаете, он уехал за границу. То же самое Шахрай.

Думаю, что наша функция не просто интервьюировать наших руководящих товарищей, а прорабатывать общественное мнение и отстаивать его от лица всего нашего общества. Эту функцию, я думаю, мы можем и без них взять на себя и выполнять ее.

Пожалуйста, Лариса Ивановна.

Л. И. Пияшева. Честно говоря, я ехала сюда, чтобы задать вопросы правительству, а не отвечать на них самой. Но коль скоро так сложились обстоятельства, я изложу свое понимание того, что сейчас происходит.

Прежде всего я хочу сказать, что так было всегда: сколько экономистов, столько программ, концепций, мнений. Поэтому по конкретным вопросам, по стратегии реформы, которую осуществляет правительство Гайдара, у меня есть принципиальные расхождения, но я их вовсе не собираюсь выносить, что называется, на суд общественности. Коль скоро реформу делают Гайдар и те экономисты, которые работают с ним, нет никакого смысла нам, профессионалам, вносить разногласия и предлагать свои коррективы. Потому что иначе опять ничего не получится.

Кстати говоря, у Ельцина, к великому сожалению, слишком много экономических консультантов из разных лагерей, из разных групп и из разных команд. И полного доверия к какой-то одной команде, наверное, у него нет, поэтому он берет на себя функцию корректировать то, что ему предлагается.

Я убеждена: то, что сейчас фактически ложится на Гайдара, к нему имеет отношение процентов на 20—40. Все остальное — это всякого рода коррективы, столь же неожиданные для него, сколь и для всех нас.

Теперь о том, как мне видится ситуация.

Давайте вспомним сначала. Горбачев обещал нам демократизацию и гласность. Он нам не обещал либеральную экономику, частную собственность. Он строил

социализм с человеческим лицом и фактически даровал нам бескровно, мирно, эволюционно свободу слова, печати, митингов, собраний, свободные выборы, многопартийность. Все это он дал и сдержал все свои обещания. Можно сказать, Ельцин пришел на готовое. Основная задача Ельцина на сегодняшний день — провести в России радикальную социально-экономическую реформу. Что это такое? Это — вернуть людям землю, это — вернуть людям собственность на средства производства, это — запустить рыночные механизмы. Свободное предпринимательство, свободная конкуренция и невмешательство государства в экономический процесс.

Нужно очень ясно осознавать: пришла эра экономического либерализма. Социал-демократы сражались с коммунистами за то, чтобы продвинуться к власти, и шли на все свои традиционные социал-демократические компромиссы: плюрализм собственности, смешанный путь, смешанная экономика, совместные предприятия, когда часть — государственная, а часть — американская, причем государственную часть возглавляют чиновники и берут себе личные дивиденды. Вот все эти смешанные штучки, мне кажется, нужно оставить в прошлом. Мне хочется, чтобы мы все поняли: эры перестроек закончились. Эры плюрализмов — тоже. Начинается новый исторический этап в развитии России. Начинается созидательный период жизни в условиях либеральных экономических свобод.

Шаги Горбачева мы мерили так: это путь к рынку — значит, правильно, поддерживаем. Кооператоров давят (уводят от рынка) — значит, не поддерживаем. С Ельциным все по-другому. На нем лежит совсем другая миссия — в самое ближайшее время вернуть людям то, что у них было отнято. Он должен вернуть России собственность и свободу. Он должен наделить каждого священным правом частной собственности и свято охранять это право.

Я с нетерпением жду от Ельцина билль о правах и свободах российского гражданина. Я жду законодательную базу, которая объявит священное право частной собственности и скажет, что каждый правитель, каждый чиновник, каждый министр, который посягает на это священное право, является преступником и должен быть судим.

Я жду от него радикальной и быстрой реформы по приватизации собственности. И здесь как раз мы входим в болотистообразную мешанину представлений о том, что и как нужно делать.

10-го числа Ельцин подписал указ и основные положения программы по приватизации. Внимательно прочитав, я вам могу доложить. Имеет место трехлетний план. Были пятилетние у нас, были семидесятилетние планы. Здесь — трехлетний план приватизации. Например, 60 процентов легкой промышленности приватизируется в 1992 году, еще 20 процентов — в 1993-м. Так по всем отраслям. Земля пока не приватизируется. Военно-промышленный комплекс пока не приватизируется.

В программе написано, сколько миллиардов рублей они получают от приватизации в 1992 году; в три раза больше — в 1993-м, еще в три раза больше — в 1994-м, т. е. доходы бюджетные уже запланированы. Все, как в лучшем пятилетнем плане. Раз запланированы доходы у бюджет, эти деньги будут, что называется, выколачивать.

10 процентов всех средств, поступающих от приватизации, идет на нужды Госкомимущества, Москомимущества и фондов по приватизации при Советах. Не сумев определить, кто же главный в этой стране — парламентарии или правительство, в закон внесли сразу два фонда: правительственный, который осуществляет всю эту процедуру, и фонд при Советах, который ставит



печати. Фонд при Советах имеет свои штаты, свои кадры, свои бюджетные ассигнования. Безбедная, сытая жизнь всем этим фондам и структурам на ближайшие три года (а Гайдар обмолвился где-то, что ВПК будет приватизировать в течении 30 лет) обеспечена. Этот пункт программы они выполнят.

И самое главное. То, из-за чего начнутся конфликты, связанные с приватизацией, и они уже начались. Мы в Москве, как только Ельцин объявил о том, что будет либерализация цен, начали осуществлять приватизацию торговли, розничного оптового звена, готовили приватизацию транспорта и всего остального, что тут же будет способствовать реформе. Наша концепция была очень простая. Мы решили сделать упор на трудовые коллективы. Все смеялись и говорили о том, что у нас совковый подход. Почему? Потому что самое отвратительное, что есть в нашей жизни, — это трудовые коллективы. И этот вариант — самый неугодный и непригодный. Нужен любой другой.

Рассматривались два других варианта: конкурс и аукцион. Это то, что предусмотрено в ельцинской программе. Наша московская программа очень интересным образом вошла в ельцинскую со словом «запрещено». Там написано прямым текстом: в 1992 году запрещено, а дальше — то, что было в нашей схеме приватизации. Но одновременно Ельцин подписал указ, в котором дал Гавриилу Харитоновичу полномочия. И то, что запрещено в основной программе, Гавриилу Харитоновичу разрешено как мэру Москвы. Умышленно это сделано? Злонамеренно? Либо по недомыслию? Я отказываюсь обсуждать эту проблему. Могу лишь заметить: Моссовет имеет все основания оспаривать правомерность каждого шага мэра по приватизации. Они каждый раз будут говорить, что Попов нарушает российское законодательство и указ Ельцина, а Попов каждый раз будет говорить: у меня есть специальные полномочия...

Я хочу еще поставить вопрос для наших юристов: имеет ли право наше демократическое правительство (мне кажется, теперь уже можно сказать: наше революционно-демократическое социалистическое правительство) выставлять все на аукционы? Какова правовая основа проведения коммерческих аукционов с теми

объектами, где есть уже некая собственность, есть право владения, есть расчетный счет? Они — предприятие, они — коллектив, в конце концов, они — те самые люди, улучшить жизнь которых мы намереваемся, осуществив приватизацию. Мне кажется, что это неправильно, что ни Попов, ни Лужков, ни Гайдар, ни Ельцин — никто не может вынести автомобильный завод, магазин либо прачечную на аукцион или отдать его по конкурсу другому собственнику.

Приватизация — это проект века. Нам предстоит многомиллиардную, триллионную собственность, которая называется общенародной и одновременно государственной, передать в частную собственность. Я бы предложила именно передать тем людям, которые работают на всех этих рабочих местах.

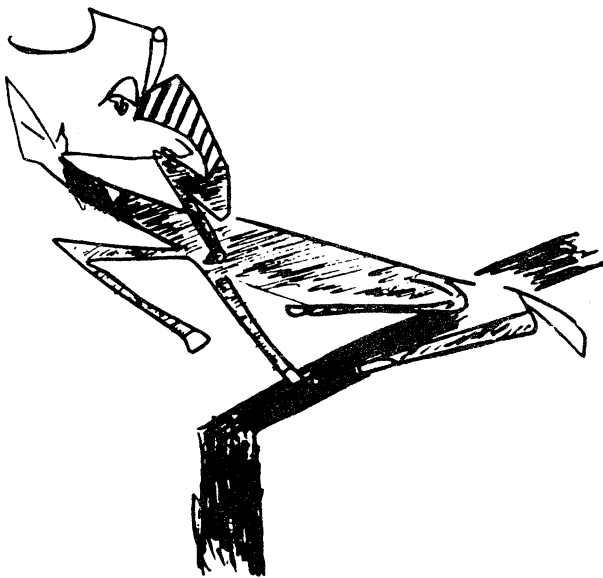
Программа такой эффективной технологичной приватизации должна быть на столе у Ельцина, с тем чтобы можно было приступить (уже вчера нужно было приступить) к самому процессу: к возвращению людям земли, к возвращению людям собственности и высвобождению всех предпринимательских структур, которые у нас существуют сегодня.

Нет ничего более важного для России в этот исторический период, как запустить приватизацию, чтобы она сумела в течение года реализоваться, чтобы следующей зимой у нас больше не было ни одного государственного колхоза, совхоза, ни одного государственного магазина, ни одной государственной оптовой базы и ни одной структуры типа трестов или торгов, которые занимаются распределением всего того, что не ими создано.

Вот все, что я хотела сказать.

В. П. Стороженко. Лариса Ивановна, можно вопрос? Ваша смелость, как обычно, меня восхищает. Как я вас понял, все отдается трудовым коллективам. Но представьте себе овощную базу в Москве и связанные с ней магазины. Кто заставит их при свободных ценах увеличить производство? Мне кажется, что у вашей концепции должна быть еще оснастка, связанная с ценообразованием, с монополизацией и т. д. Иначе будут обогащаться сами трудовые коллективы, ничего не давая нам.

Л. И. Пияшева. Что, у нас страна состоит из двух классов: класс вас и класс трудовых коллективов?



В. П. Стороженко. Ну, если реально посмотреть и сравнить овощную базу и НИИ, у которого есть только столы и стулья...

Л. И. Пияшева. У нас на сегодняшний день 400 оптовых баз, которые уже конкурируют между собой. Они будут разукрупнены, потому что они очень большие. К. Н. Боровой получает полное право основывать свои собственные оптовые базы. Любые — большие, маленькие, при биржах, при банках, где хотят. Откупать место и ставить там. Их будет много, они будут конкурировать между собой.

В. П. Стороженко. Это полностью мафиозные структуры.

Л. И. Пияшева. Мы все, социалистическое общество, являемся полностью мафиозной структурой. Мы все одинаковы.

Председатель. Может быть, мы обменяемся впечатлениями? Первым из записавшихся у нас обозначен Яковлев, главный редактор журнала «Странник». Пожалуйста, Сергей Ананьевич.

С. А. Яковлев. У меня такое чувство, что мы за годы, прошедшие после перемен в 1985 году, удивительно поглупели: и левые, и правые, и все течения, и все группировки в обществе. Мы перестали чувствовать жизнь, и наша мысль как-то все время движется по замкнутому кругу очень ограниченного радиуса.

Вот такой маленький парадоксальный пример. Некоторое время назад газеты обошло сомнамбулическое высказывание Крючкова в дни августовского путча, он говорил тогда в своем окружении что-то вроде: пора убирать картофель. А сейчас мы сидим здесь, и Андрей Александрович Нуйкин говорит: на юге вот-вот начнется сев. Я не к тому, что бывший шеф госбезопасности и уважаемый мною искусствовед почему-то оба заняты сельским хозяйством — факт сам по себе недобрый и очень советский. В конце концов никто не может запретить нам беспокоиться о жизненно важных вещах. Но мне было бы гораздо понятнее, если бы, скажем, Андрей Александрович сказал: цены неудержимо растут, а до сих пор еще не введена индексация, и есть громадная категория людей, которая не охвачена паническим повышением ставок и окладов. И что эти люди едят сегодня, что будут есть завтра — никто не знает. Это на самом деле общественно страшный факт. К сожалению, речь идет, наоборот, о том, что цены совсем не так высоки, как могли бы быть.

Общение с нашими властями никогда не приносило

удовольствия, а уж сейчас и подавно. Я уже как-то писал об одной роковой черте: власть в России с давних пор усердно превращала наш многомиллионный народ в скопище отчаявшихся террористов. И это свойство власти как-то не зависит ни от времени, ни от перемен. Говорят о мафиозных структурах, о том, что чиновники наживаются. Это все есть, но в чистом виде это, пожалуй, проблемы Запада, а у нас, к сожалению, все обстоит гораздо хуже. У нас приобщаются к власти преимущественно для того, чтобы выжить. Не только чиновники сверху донизу, но и депутаты новых Советов всех уровней. Известно, например, как распределяется и распределяется у нас жилье, и мне это особенно хорошо знакомо: имею четыре метра на душу и до сих пор не могу даже встать на очередь — много лет не давали «старые» власти, теперь не дают «новые». Вообще логика у них примерно такая: на всех все равно не хватит, но если мы захватим кусочек власти, мы выживем за счет остальных. Это логика мародеров. Пока Россией правят мародеры, нас ничего хорошего не ждет.

Председатель. Как все-таки вы предлагаете сбить цены и накормить народ? Вы, кажется, обещали на эту тему поговорить.

С. А. Яковлев. Я думаю, что каждый должен заниматься предпочтительно своим профессиональным делом. И если министра печати Полторанина не интересует судьба культурных журналов — оттого, как говорят, что он занят другими, более важными делами, — то этим уже все сказано. В развитых странах, затеявая новое дело, начинают с учреждений культуры — там понимают, что эти затраты с лихвой окупятся. Мы же, начиная, можно сказать, новую жизнь, слышим торопливые заявления, что на культуру у нас вообще не предусмотрено никаких средств. Я хотел бы, чтобы министр печати заведовал печатью, крестьяне беспокоились о севе, а искусствовед рассуждал об искусстве, так будет больше толку.

Председатель. Просил слово Виктор Данилович Белкин. Пожалуйста.

В. Д. Белкин. Я целиком согласен с Ларисой Ивановой. Поскольку темп реформы задан уже либерализацией, то нужна обвальная приватизация, которая могла бы догнать эту либерализацию и хоть как-то исправить дело.

Но даже если это все произойдет, даже если не будет трудностей, на которые сейчас российское правительство закрывает глаза, то возникает все же огромная проблема, которая вытекает из концепции реформы.

Эта концепция исходит из того, что наша экономика такая же, как, допустим, польская или чилийская. Но вот газета «Мегаполис-экспресс» приводит мнение министра экономики и финансов Чили, так сказать, чилийского коллеги Гайдара. Ребята, говорит он, вы совершаете глупость, стандартные приемы стабилизации нельзя переносить на вашу страну.

Чем же специфична наша экономика? Не буду перечислять частности, скажу о главном. За 70 лет мы были единственной страной, которая уменьшила народное богатство. Во всем мире оно росло, а у нас — уменьшалось.

Почему? Потому что выросший монстр, оборонный комплекс, проел все. Проел даже 9/10 золотого запаса страны. У нас переамортизированы железные дороги, линии связи, у нас нет инфраструктуры. Уровень жизни подавляющего большинства населения еще до либерализации цен был ниже черты бедности. То есть никакого маневра, когда, допустим, все замерло и мы занимаемся только реформой, не существует. Приходится заниматься всем.

Я был в Польше, когда там начиналась реформа. Запасы там были созданы на два года, склады забиты, на рейде стояли неразгруженные корабли с продовольствием, у фермеров правительство не принимало продукцию, и они блокировали дороги. Если нужно было кого-то накормить, то он мог подойти с протянутой рукой и получить недельный запас еды, это мне говорил фермер, где мы отдыхали. Никакого сравнения. Приватизированная торговля, приватизированные услуги и т. д.

То, что происходит: сначала инфляция, чтобы выжить в условиях либерализованных цен, а потом огромные налоги, которые устроят нам шок,— это напоминает, если воспользоваться словами Жванецкого, одновременный прием слабительного и снотворного. Нам нужно взять ту схему, по которой переходила Россия от военного коммунизма к нэпу. Вот что нам ближе. Переходила она на основе параллельных денег.

Как поступили наши деды? Происходила инфляция, падали совзнаки, и вроде бы за счет эмиссии существовал бюджет. Но одновременно был введен червонец, он обеспечил хозяйственные связи, и примерно к 1924 году Россия была сыта, народ был накормлен, начался экспорт продовольствия, и к 1925 году мы впервые получили бездефицитный бюджет и частично конвертируемую валюту.

И делать это надо уже начиная с конца квартала и не ждать, что, как нам обещает Гайдар, в конце первого квартала мы получим бездефицитный бюджет. Это немножко напоминает стиль его деда, который в 16 лет командовал полком,— сабельным ударом он собирается провести финансовое оздоровление в народном хозяйстве.

Если мы будем ставить такие сверхзадачи, то в скором времени значительная часть населения уже отправится в мир иной. И то, что Ельцин, говорят, вносит, дрогнув, коррективы и в других местах тоже вносят коррективы, это, поверьте, вовсе не популистские маневры. Это инстинктивное понимание всего ужаса положения.

Ставка, которая сейчас делается,— это, я бы сказал, поразительная для демократов ставка на долготерпение народа.

Председатель. Просьба короче.

В. Д. Белкин. Последнее, что я хочу сказать: даже при всем своем оптимизме Явлинский уже с лета не говорил, что мы можем своими силами справиться. Он говорил, что для этого нужно как минимум сто миллиардов валютного резерва. Мы знаем, что единственный способ получить достаточную валюту, это вернуть японцам острова, которые мы у них захватили.

Л. В. Альшуллер. Мне кажется, чтобы процесс возвращения в разумное демократическое правовое государство, основанное на частной собственности, шел успешно, надо ухватиться за главное звено. Голодные люди не могут позволить себе очень долго реформироваться. Главное звено, как говорил Ю. Черниченко,— аграрное.

Решающий успех яковинцев был в том, что они создали класс мелких землевладельцев. Необходимо прежде всего провести аграрную приватизацию, осуществить полное и абсолютное право на землю, присвоение продукции земледелия.

Совершенно ясно, что во время нэпа была производительная сила, были лошади, сейчас их нет и нет обилия земледельцев, как в Китае. Поэтому очевидно, что должен быть принцип: частный характер присвоения продукта (за исключением совершенного минимума, который передается государству) и общественный характер значительной части производства. Звенья ме-

ханизации должны оставаться. Сами крестьяне решат, в какой форме они будут обобществлять землю, какие формы артельной деятельности у них будут. Русская артель была очень производительной.

Гегель сказал, что все разумное действительно. А мы живем в антимире, у нас, наоборот, все неразумное действительно. Я призываю сосредоточить внимание на том, что, если мы не решим вопрос приватизации земли и повышения производства в сельском хозяйстве, мы ничего не решим.

Председатель. Наверное, схему приватизации надо накладывать на реальную обстановку. Надо представлять, у кого в руках власть и кто, что бы мы тут ни говорили, будет проводить приватизацию.

На очереди у нас Тимофеев. Пожалуйста.

Л. М. Тимофеев. Вот наконец-то наш председательствующий решил вспомнить, у кого власть в руках. Было бы хорошо начать наше собрание именно с этого, прежде чем размышлять, употребляя императивы «необходимо», «нужно».

Наша общая беда, наверное, заключается в простодушии. Мы всегда простодушно полагаем, что, собравшись за «круглым столом», мы сейчас и найдем, как накормить страну. Я хочу взять под защиту своего коллегу Яковлева, которого незаслуженно упрекнули за то, что он не предложил нам рецепта, как накормить страну. Рецептов полно. Страну-то накормить нельзя.

Давайте посмотрим, кто же наш противник. Почему-то считается, что после 19 августа власть в руках неких замечательных улыбающихся демократов, и единственное обвинение, которое мы им можем бросить,— слишком широкая улыбка. Да нет у них никакой власти. Раньше было проще. Мы говорили: власть в руках партаппарата. Так что ж, сегодня сняли вывески, значит, у них власть отобрали? Ничего подобного! Вся власть, в том числе и власть в экономике, конечно же, осталась в руках у тех же самых людей и даже у тех же самых структур, которые несколько сместились, сменив название, но оставшись с тем же комплексом интересов, что и прежде. Все, что сейчас происходит,— просто новая легитимизация той же самой структуры, той же самой формы собственности, которая была до сих пор.

Два года назад мы все никак не могли произнести слова «частная собственность». Произнесли, не сходит с уст. Но теперь оказалось, что этих двух слов мало. Потому что надо разглядеть, а в чьих же руках эта частная собственность окажется. И получилось, что у нас очень хорошо и ловко образуется крупный монополистический капитал на основе бывших аппаратных, чиновничьих связей, который, безусловно, чтобы накормить страну, даст организовать и мелкому капиталу. Одного у нас не будет. У нас не будет среднего класса, у нас не будет демократии, которая со средним классом неизбежно связана. Не будет демократии ни в



экономике, ни в политике. Те, кто сегодня улыбается, думая, что власть у них в руках, ошибаются. И вчерашнее армейское совещание показало, что они ошибаются. Что совсем не у них власть в руках. Что они сделают два-три шага, и это будут последние шаги.

Я не хочу сказать, что я сегодня знаю, как взять власть у тех, кому она принадлежит. Не знаю. Я пессимист. Я думаю, что нам не избежать тяжелых времен.

Председатель. Может быть, Галина Васильевна Старовойтова внесет оптимистическую струю?

Голос с места. Это ваша власть, Галина Васильевна.

Г. В. Старовойтова. Я не знаю, моя власть или нет, но я часть этого механизма. Сегодня много звучало упреков в адрес власти как таковой. Это достаточно абстрактное понятие, я бы сказала, это несколько инфантильно звучит сегодня — упрекать власть, не адресуясь конкретно к какому-то крылу этой власти. У нас однородная только команда правительства — правительства Гайдара, Шохина, Чубайса. И так должно быть, на период реформ в правительстве не должно быть разногласий. Это правительство реализует либеральную идеологию, я бы сказала, механизмы нашего российского тэтчеризма или даже консервативного либерализма. Либеральные идеи не настолько еще сильны в обществе, не настолько освоены и популярны, чтобы такое правительство могло прийти к власти в результате свободных выборов. По счастью, Борис Николаевич Ельцин (хотя сам он, пожалуй, не принадлежит к либеральному крылу, скорее к демократическому или леводемократическому) назначил именно такое правительство. И я, например, не знаю, кто мог бы лучше сегодня пытаться что-то делать в этой разрушенной, разваленной стране, в стране с таким огромным духовным вакуумом, в стране с такой угрозой фашистской и милитаристской тенденции, с угрозой победы именно этих сил. И хотелось бы слышать со стороны уважаемой общественности, интеллектуалов, которые собрались здесь, больше предложений, которые мы могли бы учесть.

Я совершенно согласна, что упирается многое в аграрную реформу и приватизацию земли. Здесь спрашивали об армянском опыте. Как депутат от Армении я только два слова скажу. Я специально ездила по Армении и смотрела, как идет земельная реформа. Это делалось так. Дают какой-то участок земли, как правило, шесть соток, редко больше, потому что земли нет. Бульдозерами с этой земли свозятся огромные валуны, куда-то их в кучу убирают, все равно остаются камни. На эти камни грузовиками привозится купленная земля. Засыпается. Нередко эти шесть соток обносятся бетонной опалубкой, такой коробкой, чтобы драгоценную землю не смыло дождями. Вся семья, от пятилетних детей до 80-летних стариков, обрабатывает эту землю вручную. А потом собирают с нее три урожая. Делают консервы, закручивают банки. Все мои знакомые армянские женщины-интеллигентки имеют мозоли на пальцах, потому что все лето закручивали банки. И сегодня Армения живет за счет трех урожаев, собранных в эти лето и осень в условиях экономической блокады, энергетической блокады, войны с Азербайджаном, полного прекращения, по сути, поставок из России. И они говорят: благодаря изоляции и блокаде мы за один год подняли свою экономику, мы вынуждены были выжить, и мы выжили. Люди работают, они не спорят, частная там собственность или не частная, какая идеология. Вопрос стоит о выживании, и они выживают. А у нас пока еще, видимо, депутаты парламента не совсем поняли, в какой тяжелой ситуации мы находимся.

Надо сказать, что в Армении не был разрушен класс крестьянства, сохранялась крестьянская община, сохранились навыки земледелия, в том числе у молодежи (у нас ведь этого нет). И земля там была приватизирована через общину. Президент просто дал право колхозу самому распределить эти участки. На сходе, как это делалось и в старой России, хорошо или плохо, но участки распределены в более или менее стабильное землепользование на несколько лет.

Я вообще не специалист в экономике, и мое выступление дилетантское, но я не совсем разделяю возмущение уважаемого мною Льва Тимофеева насчет того, что коммунаки все приватизируют. Что ж такого, пусть они приватизируют сегодня, а если они будут плохими хозяевами той собственности, которую нахватают, значит, в следующем поколении они ее потеряют, и она перейдет уже к нашим детям или к детям каких-то других слоев населения, потому что бизнес не будет смотреть, коммунаки они или демократы.

Л. М. Тимофеев. С этим нельзя спорить. Но я говорил не о том, что коммунаки приватизируют, а о том, что они не дают приватизировать вам...

Г. В. Старовойтова. Не дают и не дадут, наверное. Может, дадут ряду предпринимателей. Но я не уверена, что деньги этих предпринимателей — чистые деньги. Мы сегодня не сможем отделить чистые деньги от грязных, а коммунак от нас с вами. Мне, например, не нужна частная собственность, я тут же ее потеряю. Я доверяю экспертам, у меня что-то выключается в голове, когда я слышу о частной собственности. Так что те, кто думает, что умеет распоряжаться частной собственностью, пусть приватизируют, но эта частная собственность должна работать на рынок, независимо от того, хорошие или плохие люди ею будут владеть.

Теперь, возвращаясь к сюжету о так называемой военной угрозе, я тоже могла бы добавить несколько слов, потому что провела весь день на этом всеармейском совещании, и, думаю, то, что там происходило, слабовато было освещено в средствах массовой информации. На самом деле весь мир содрогнулся в тот момент, когда маршал Шапошников подал в отставку, покинул свое председательское кресло и ушел со сцены. Я уверена, что это было искренне, это не была какая-то поза, он действительно хотел оставить это место, и я представляю, что творилось в умах и сердцах людей. Это было очень серьезно, и вернуть его смогла только угроза главкома ВВС Дейнекина, который вышел на трибуну и сказал: в таком случае военно-воздушные войска сейчас тоже покинут этот зал. А затем член президиума ВС Узбекистана, который присутствовал, сказал: товарищи, что вы, давайте проголосуем. И вот они вдвоем на испуг взяли этот зал и быстро проголосовали. Отправили делегацию и чуть ли не силой вернули Шапошникова в зал. Присутствующие там шароварные казаки требовали назначить вместо него Жириновского. В координационный совет первыми были названы имена Алксниса, Петрушенко, Жириновского, требовали придать статус с правом законодательной инициативы этому избранному всеофицерским собранием совету. По сути, речь шла о требовании созыва параллельного парламента, который диктовал бы свою волю гражданским властям, а впоследствии мог бы возглавить военную хунту.

Когда армия выходит из-под воли гражданских властей, получается то, что было в Югославии. На первом этапе сербская армия просто не слушалась решений парламента, а дальше началась настоящая гражданская война. Такая угроза существует и у нас.

В. Д. Оскоцкий. Поскольку у нас «круглый стол», мне хотелось бы несколько расширить тему и сказать о

национальных отношениях. Мне думается, что это тоже часть проблемы, где авторитет власти и механизмы принятия решений проявляются очень четко.

Тут приводился пример, мягко говоря, непродуманного решения российского президента относительно немцев Поволжья. Мне думается, ничто так не роняет авторитет власти, как поспешное принятие решения. Достаточный пример в Чечне.

У меня возникает вопрос, почему российские парламентарии еще до того, как события в Грузии приняли такой кровавый размах, не дали им политическую оценку. Почему экономические акции, осуществляемые Республикой Азербайджан по отношению к Республике Армения, получают в нашей печати в основном только информационное освещение, почему нет политических оценок этого факта?

В этой связи несколько слов о том, что в последние дни прошлого года мне довелось видеть в Нагорном Карабахе. Я не буду подробно излагать свои впечатления. Скажу только, что все это мне часто напоминало детство в блокадном Ленинграде. Плакаты с надписью идти по той стороне, которая менее опасна, потому что не обстреливается. Полуподвальное житье-бытье детей, которые не видят ни света, ни воздуха. Мука в городе кончилась, об этом были сообщения в печати. Но не

Вообще негативные и дестабилизирующие последствия такой позиции, мне кажется, достаточно очевидны. Телевидение в наших условиях играет уникальную роль. Вопросы, которые задаются корреспондентами, отбор сюжетов строятся таким образом, что никакого вывода, кроме негативного, сделать нельзя. Почему так? Это особый разговор, это вообще позиция нашей интеллигенции, которая умеет быть в оппозиции, умеет говорить «нет», но не умеет сотрудничать.

В связи с этим я предложил бы принять письмо телевидению. Текст предлагается следующий:

«Клуб «Московская трибуна» с тревогой констатирует, что информационные программы первого канала и Российского телевидения в освещении экономического положения страны занимают в основном деструктивную позицию по отношению к экономической реформе. Это проявляется как в отборе сюжетов, так и в итоговых репликах и эмоциональном настрое комментария. С учетом уникальной роли телевидения это способствует дестабилизации обстановки и снижению шансов на успех преобразований, к чему, как мы уверены, коллективы телевидения никак не стремятся.

Мы готовы оказать профессиональную помощь в формировании более взвешенной картины экономиче-



было сообщения о том, что в Степанакерте нет перевязочных материалов...

Внутренние войска Союза уходят, а вооружение и техника остаются азербайджанской стороне. Создается новая трагическая ситуация, которая ставит армянскую сторону в положение явно обреченное.

Вот мы говорим о правах человека, о правах нации. И здесь мой вопрос к российским парламентариям. Когда Азербайджан осуществляет экономическую блокаду, энергетическую блокаду по отношению к независимой Республике Армения, вправе или не вправе государства Содружества применять экономические санкции по отношению к Азербайджану как к стороне, нарушающей права нации и права человека?

Председатель. Есть резолюция на ваше усмотрение. Леонид Гозман хотел ее зачитать. Относительно средств массовой информации, их поведения в сложившейся ситуации.

Л. Я. Гозман. Группа психологов проанализировала освещение в информационных программах телевидения хода экономической реформы и экономического положения страны. В сорока сюжетах, которые мы рассматривали, было всего четыре положительных оценки и тридцать шесть отрицательных. Репортеры два раза высказывались положительно при оценке ситуации и тринадцать раз — отрицательно.

ской ситуации страны и более оптимистического взгляда на будущее».

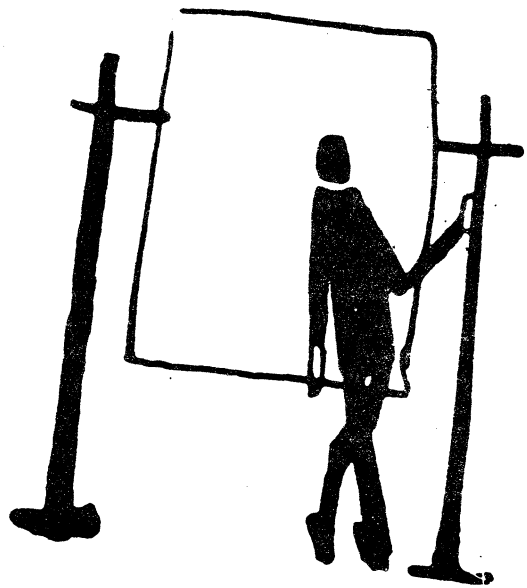
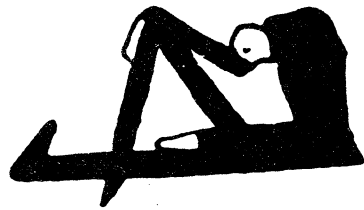
Один пример. Останавливают людей на улице и спрашивают: как вы относитесь к росту цен? Скажите, пожалуйста, нормальный человек может сказать, что относится к этому положительно?

Голос с места. Я абсолютно согласен с выводами и постановкой вопроса. Это страшная проблема, то, что происходит в наших средствах массовой информации, не только на телевидении, но и в газетах. Для того чтобы быть броскими, чтобы выглядеть при этом гуманными и конструктивными, они все время фиксируют внимание на том, что вот идет бедная, несчастная, умирающая с голода старушка. Это действительно проблема, и старушка и многое другое. Но фиксировать на этом бесконечно внимание общества невозможно, потому что это разрушит волю к преобразованиям.

Л. Я. Гозман. Мы принимаем это?

Председатель. Есть возражения? Пожалуйста.

Другой голос с места. Если мы включимся сейчас в ту борьбу, которая ведется против отдельных элементов критики правительственного курса в прессе и средствах массовой информации на фоне всеобщего одобрения, то, извините за резкие слова, мы включимся в тот процесс... *(Не слышно.)* У нас пресса монополизирована и долгое время создавала имидж отдельным личностям, которые



сейчас стоят у власти. Вы предлагаете зажать прессу под предлогом, что воля к реформам может быть подорвана. В таком случае мы перестанем быть собранием интеллигенции, которая всегда должна поддерживать дискуссии, в том числе и в средствах массовой информации. Там недостаточен элемент критики сейчас, к сожалению. Идет в основном слепая поддержка реформ в средствах массовой информации. Давайте примем заявление, что мы за элемент дискуссии, пусть будут допущены разные точки зрения в прессе, пусть они будут сравниваться, и мы сможем, как простые зрители, делать свои выводы.

Председатель. Я предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы резолюцию, выражающую озабоченность, принять?

Против? Три.

Воздержались? Нет.

Резолюция принята.

В. С. Библер. Я хотел до голосования сказать, что я категорически против принятия резолюции о прессе. Когда мы призываем прессу реагировать не на то, что сейчас плохо, а на то, что завтра будет хорошо, мы хотим, чтобы пресса перестала быть прессой.

Заметьте, как у нас на интеллигентские языки сразу наворачиваются термины: осадить, призвать к порядку... Я уже не понимаю, где я нахожусь.

Голос с места. Я хотел бы спросить, каким образом собрание интеллигенции может выразить порицание неинтеллигентной прессе? Пожурить и поставить в угол или еще каким-то способом?

Председатель. Спасибо за очень интересный вопрос. Я могу сказать: выразить озабоченность безответственностью целого ряда журналистов, которые взяли монопольное право комментировать все, что происходит в стране. Меня нельзя заподозрить в том, что я против свободы слова, всю жизнь пишу и все время за это боролся. Тот текст, который предложен, достаточно интеллигентен, достаточно корректен. В то же время он и достаточно выражает тревогу. Понимание ситуации, наверно, состоит в том, что в одном случае что-то поддерживается, в другом случае

это же осуждается. В зависимости от ситуации.

Корреспондент радиостанции «Юность». Когда мы раньше поддерживали опального Бориса Николаевича, нас осуждали правители и говорили, что мы выступаем за популизм, что мы говорим невзвесть что и что мы толкаем страну невзвесть куда. Теперь ситуация изменилась. Как только мы стали высказываться против, нас обвиняют в том же: что мы ведем к краху, что мы перевираем ситуацию в стране.

Понимаете, это страшно. Мы одни и те же. Я та же самая, что и тогда, когда давала микрофон Борису Николаевичу, которого никуда не пускали. Я та же самая. И сейчас мы точно так же должны отображать то, что происходит. Есть голодные? Есть. Есть очереди? Есть. Все это есть.

О хорошем говорите вы. О хорошем говорят наши правители. Они говорят об этом постоянно. О плохом они не скажут. Но кто-то должен говорить о плохом.

Председатель. Это примитив — хорошее, плохое. Есть ситуация, есть процесс. Есть возможность на него влиять в ту или другую сторону.

Л. А. Глебов. А кто судья? Не может Нуйкин выступать судьей и говорить, что такой-то репортер хороший дает обзор, а другой — нет.

Сейчас и без того стремятся отобрать субсидии у печати. Не время, товарищ Нуйкин. Я помню, как товарищ Нуйкин выступал против сборника «Нравственность — это правда» и говорил, что там нет партийной позиции. Я могу это процитировать.

Председатель. Пожалуйста, отойдем туда, и вы процитируете.

С. И. Волькенштейн. Мне кажется, эта проблема — как женская мода. Во всем должен быть определенный вкус. Это модно, но женщина со вкусом это сделает так, чтобы это было красиво.

Я считаю, что пресса начала вести себя неправильно. Но это не результат угнетения свободы, это не результат какой-то борьбы. Это мера вкуса. И за эту меру вкуса мы должны все бороться.

Председатель. Кто против принятия резолюции по печати? Я считаю, что достаточное количество против...





ВОСПОМИНАНИЕ О КУЛЬТУРЕ

Заметки начала 80-х годов

... но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз.

Ф. Достоевский — брату.

Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю.

Ф. Достоевский — отцу.

Федор Достоевский принадлежал по своему складу к ярко выраженному типу, весьма характерному, хотя и немногочисленному, — типу одаренного русского террориста. В двадцать с чем-то лет он увлеченно играл в заговор, а потом пережил страшное потрясение и очутился на каторге. После каторги это был уже знаменитый писатель Федор Михайлович Достоевский, изменивший всему, кроме террористического склада своей натуры.

Много лет спустя он говорил, что весть о помиловании петрашевцев была «безобразным и ненужным ругательством».

Достоевскому на Семеновском плацу хотелось умереть — чувство, в котором он впоследствии мог позволить себе признаться лишь косвенно. К этим словам можно ничего не добавлять для объяснения последовавшей затем метаморфозы. После «безобразного и ненужного ругательства» оставалось только начать жить заново, научиться по-другому оправдывать свою жизнь.

В судьбе Достоевского, в его прошениях и жалобных письмах (Э. И. Тотлебену и другим) прослеживается ужасное, фантастическое несообразие жизни. Я представляю себе это так:

мрак, изба, Семипалатинск, унтер-офицер Достоевский лихорадочно, с горячечной надеждой пишет: «Вся мечта моя: быть уволенным из военного звания и поступить в статскую службу, где-нибудь в России или даже здесь»;

свет, покой, удобное кресло, дорогая сигара, граф Тотлебен снисходительно ухмыляется в усы, отпускает двусмысленную шутку по поводу несчастного стиля, решается снизить...;

мрак, изба, Тверь, уволенный из военного звания Достоевский, сгорая от возбуждения, вновь взывает о помощи, явно преувеличивая свою болезнь: «Между тем мне нет никакой возможности не жить в Петербурге!..»;

свет, покой, строгость на чистом лице Тотлебена, справедливо сожалеющего, что ввязался в эту историю...

И т. д.

Тотлебен — человек во всех отношениях достойный, и он действительно много сделал для Достоевского. Не в том дело. Здесь показаны два совершенно по-разному, противоположно организованных (и внешне и внутренне) мира, взаимопонимание между которыми немислимо.

То же происходит сейчас с нами.

Жизнь сконцентрировалась в состоянии тошноты, предвотного томления (которое — хочется сказать — хуже смерти, но так сказать нельзя, ибо какова на самом деле смерть, никто не знает). Тошнота — метафизичнейшее состояние: неизве-

стно, откуда приходит, когда кончится. А уж тоска! Ни с чем не сравнимая, всем телом ощущаемая тоска недуга. Именно это состояние становится предметом современного искусства.

Самое сильное, что можно сейчас написать, — просто правду.

Правда состоит не в том, чтобы один некто приходил к другому некто и говорил: «Смотри, что меня заставляют делать! Какая подлость». Или: «Смотри, что написали в сегодняшней газете! Какая ложь». Так говоря, мы не сообщаем почти ничего. Правда дышит мучением, тоской. Можно объявить, что погибло три четверти человечества, и в людях не дрогнет ни один мускул. А можно того поразить их «обидой куклы», что они горько заплачут.

Правда состоит в том, что все на свете куклы до смерти разобижены — хватит ли на них слез?

Нам с вами странно было бы попасть — как в другое измерение, как в ад, как в дурной сон, который сразу после пробуждения хочется забыть, — ну, к примеру, в красильный цех ткацкой фабрики. Темный, холодный подвал, где крутятся чугунные валы допотопных машин, пахнет краской и тянутся ленты материи...

А ведь кто-то ходит туда каждый день и к вечеру выползает на свет — как в другое измерение, как в сон.

Каждый живет в своем невероятном измерении и привык к нему.

Одни побираются в этом мире, как та старуха согбенная в полушалке, стоящая безмолвно или шепчущая что-то про себя сухими губами, от которой все рассеянно или с раздражением отворачиваются, и много если кто протянет пятак... А другие — как та молодая цыганка в кожаном пальто, что с улыбкой наплела звонким голосом про какую-то там справку из больницы, и вот уже готово тянуть к ней отовсюду двурывенные...

Вот мир! Вот человеческая справедливость!

И как не быть злым, даже зверем, если тебя нарочно, запланированно выталкивают в самое нестерпимое окружение?

Человек вообще тяжел, мрачен, недоброжелателен и делает над собой жестокое усилие, выходя на люди и становясь приветливым. Особенно хорошо заметно это в людях искусства и всякого рода комедиантах, для которых доброжелательность — работа.

Важно, что человек всегда живет потерей. Долгие мухи на окне. Желтая вода Невы на каменных ступенях. И каждое частное неразрешившееся обстоятельство кажется катастрофой. Выжигающая внутренности обреченность.

Концерт в зеленом театре Павловского парка в воскресный день. Белый полукупол над сценой, окруженной стройными липами, дубами и кленами. Пианино. Женщина в коротком кримпленовом

платье, расставив полные ножки, выводит, срываясь в дискант:

Недотепа ты мой, недотепа!

Недо-недо-тепа ты мой, недотепа!

Издавека, из-за деревьев этот визг невыносим.

В Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина из всех медицинских энциклопедий (три разных издания) вырваны страницы со статьей «Половой акт». А в ватерклозете на стенках изображены половые члены разной формы и величины, причем указана длина каждого в сантиметрах.

Детская игра в этом унылом краю — кладбище из песочных холмиков, с тоненькими прутиками изгородей и одинокой вешкой посередине.

Высокое страдание по и н о й с у д ь б е на лицах инженеров, дворников, врачей, стрелочников и машинистов... Мчится сквозь сырую мглу электропоезд, приближаясь к платформе, а машинист смотрит невидящим пламенным взором, прижав к стеклу высокий бледный лоб.

Жизнь принимает угрюмый характер выполнения какого-то последнего долга, как у капитана тонущего корабля...

Мы, кто считает себя честными (а иные даже пострадавшими за честность), все переговариваемся на условном языке, взывая к «духовности», а вокруг творятся конкретные, до отвращения ясные черные дела. Практически ни один из нас даже дотронуться до них, даже помыслить про себя о них не смеет.

Какие вам еще корни, какой дух? Сделайте, чтобы люди вначале передохнуть могли, наесться досыта да одеться, свой угол обрести...

«Воспитанность» — это когда все равно. Когда не орешь и не толкаешься в очереди за билетом, потому что не столь важно, когда тебе ехать, а можно и вовсе никуда не ехать. Когда знаешь, что ночевать на вокзале не останешься. Когда никого не любишь и никто тебе особенно не нужен, а развлечение могут доставить многие.

«Воспитанность» кончается, когда наступает катастрофа. Любовь, болезнь, война, землетрясение... Когда надо любой ценой ехать немедленно, прямо сейчас, в одно-единственное место, к одному-единственному человеку.

Бог одинаково наказывает всех рождением, проводит через страдания и умерщвляет, и это самое справедливое, что можно постановить среди людей. Всякое неравенство, суетно воздвигаемое самими людьми, становится ввиду этого призрачным.

Против морали бунтуют самые совестливые, наиболее связанные внутри себя разнообразными человеческими обязательствами люди. Другим, большинству, просто незачем бунтовать — совесть им неведома, имморализм присущ естественно, как дыхание. Однако это большинство не одобряет вольных мыслей и высказываний и настороженно следит за бунтом избранных — втайне боится разоблачения.

Внутреннего выхода у человека просто нет. Всякий выход из тех, что предлагают родственники, друзья, заинтересованные лица, недоумевающие,

почему ты не поступаешь так или иначе, он — внешний. Достоевский хорошо знал, что внутреннего выхода нет, поэтому у него в романах сходят с ума.

Выживать вообще очень трудно. Каждый выбирает доступный и понятный ему путь борьбы (прежде всего с самим собой) за выживание.

Но если все думать о том, как трудно выжить, когда целый мир угрожает, то будет все хуже и хуже и в конце концов, как у кафкинского кролика («Нора»), не останется никакого выхода. Разбирательство с жизнью сгущает угрозу.

Надо хохотать, по-гоголевски безудержно хохотать над всем. Как только попытаешься отнестись к жизни хоть чуточку серьезно — сразу попадаешь в безвыходное положение...

Надо уметь каждый день, каждую минуту быть новым, отсекая все, что позади, иначе груз давно и только что минувшего сделает тебя несчастным и, главное, обреченным на неудачу среди людей. Люди не выносят растерянности. С ними надо быть всегда свежим.

Урок прозаика Б.: историю собственных унижений можно написать как историю унижения русской культуры. Главное — верить в себя.

Воображение — метафизический стержень XX века, взоры всех обращаются к нему, оно кажется губительным, но на него же и последняя надежда. И. Бунин: «Люди спасаются только слабостью своих способностей — слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить». А. Камю: «Им не хватает главного — воображения». А. Ремизов: «Если бы люди вглядывались и замечали друг друга, если бы даны были всем глаза, то лишь одно же л е з н о е сердце вынесло бы весь ужас и загадочность жизни. А, может быть, совсем и н е н а д о было бы железного сердца, если бы люди замечали друг друга».

Один глаз наш замечает розовые оттенки, а другой — холодные, синеватые, мертвые. Один видит теплоту предмета, его сахарную вязкость, другой — сухой графический очерк.

Нажмите пальцем на яблоко одного глаза, сдвиньте изображения друг относительно друга, и вы убедитесь в этом сами.

Все на свете вожделсет быть написанным.

Зачем нужно мыться в душе, варить обед, спать, вообще жить, если в это время слова, зацепившись одно за другое, начинают сыпаться лавиной, в голове разворачиваются целые словесные пространства, которые с каждым шагом, с каждой очищенной картофелиной сменяются новыми, а утраченные, завядшие, голыми скелетами уложенные в бедных ячейках памяти, уже не вернуть к жизни, но теперь не вернуть уже и этих, и этих — льется вода, сыплются очистки, стучат по мостовой башмаки, и лавина рассыпается, лишенная поддержки, разбитая лихорадочными попытками ума затормозить, остановить, зафиксировать навечно каждый миг ее движения...

Я спрашиваю вас, что такое эти дикие романтические истории, которые разворачиваются в на-

ших головах во сне незримо и вне образов, как бы на словесной оболочке мозга, и куски которых мы схватываем, слышим и проговариваем, уже проснувшись? Что все это такое и далеко ли отсюда до сумасшествия?

Засыпая, мы каждый раз как бы готовимся умереть и заново возродиться к жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, чтобы проснуться поголовски без носа, или вообще другим существом, как у Кафки, или не проснуться вовсе.

Достоевский понимал: чтобы пересказывать действительные сны и чтобы они казались читателю интересными и значительными, надо подвести к ним ходом всей жизни. Вначале должен быть роман, потом сон.

Роман никогда не вместит целой жизни и тем не менее обязан вместить больше. Он содержит пророчества о жизни и только в них обретает значение.

«Богopodobное» (по слову Ч. П. Сноу) мироощущение Л. Толстого — это всегдашнее ощущение своей правоты. Из этого проистекает и его художественность. Например, в отношении к женщинам: если бы Пьер Безухов не был всегда прав, если бы не хотелось избавиться его от глупой развратной Элен, но была бы хоть крошка симпатии или жалости к ней, то все это раздражало бы обычного читателя своей двойственностью и не «заражало» бы столь сильно.

Расколотое художественное сознание Достоевского держится, напротив, на изначальной неправоте. Почти во всех его романах герои пытаются выбрать одну из двух равно и одновременно любимых ими женщин — и не могут этого сделать.

Для «расколотых» книг нужен совсем особенный читатель.

Культура — это правота.

Чтобы писать с толстовской основательностью, надо и жить по-толстовски — спокойно, прочно и надолго устанавливая свой режим, отправляясь туда, куда хочется, и упиваясь новым впечатлением или мыслью столько, сколько хочется. А не ездить с одной чужой квартиры на другую, обтирая стены лестничных площадок, не мчаться на работу в набитом автобусе, воображая, что вот как раз сейчас-то ты готов для свежих впечатлений и труда, и если бы остановиться...

Спасение в том, чтобы понять, что никакой другой жизни у тебя не будет и все, что тебе предназначено сделать, надо делать сегодня.

Нельзя слишком долго жить без перемен, иначе писать будешь только о себе да о своем. Нельзя долго жить с одной женщиной, потому что она портретно заменит собой всех женщин и станет олицетворять все людские пороки. Нельзя вообще впадать на письме в портретность, поэтому надо узнавать как можно больше разных людей и — не зная никого. Искусство (и в литературе тоже) есть искусство создания масок, которые следует раскрашивать грубовато и ярко, чтобы их узнавали издали.

В 1847 году писали о Пушкине и Вяземский и Белинский. Поразительно, какую лавину обрушил на читателей последний при живых-то сотовари-

щах поэта! Читал, восторгался и тут же кричал о своих первых впечатлениях. Потом снова углублялся в книгу и, снова чему-то мимоходом поразившись (себе, своему открытию), опять кричал. Так и надо. Грубый пафос заражает сердца. Не следует считать людей слишком умными и образованными, масса их (прежде всего молодежь) ждет наивных горячих подсказок, чтобы стронуться с места. Замкнутая в себе элитарная культура обречена на вымирание.

Как странно и стыдно за человеческий род, в бесприсветло: о гении мы вынуждены мыслить в рамках наложенных на него общественных условий, часто пошлых и абсурдно-трагических. Зарплата, потертый пиджак, потные руки, выговор (от Николая I или от столоначальника — уже не важно).

Литература — прорыв человека к культуре, то есть к прекращению страданий, к обезболиванию через боль, к снятию внутренней разорванности и связанных с нею проблем. Возможно, в этом смысл всего искусства. Оттого бескультурный, изначально «дикий», обладающий трагически расщепленной личностью художник особенно велик.

Русской литературе вообще свойственно вваливаться в салон в сапожищах. Не говоря уж об Есенине или Шукшине, Достоевский тоже входил боком и с вызовом жался к стенке, а Толстой с развязностью графа изображал мужика.

У одного путь толстовский, от великих грехов к страстной праведности; другой, как Достоевский, от праведности своей врожденной бежит и не знает, в какой грех броситься...

Персонажи Достоевского возвращаются, чтобы убить; персонажи Толстого — чтобы загладить вину.

Жизненный опыт для художника, конечно, важен. Но житейская изношенность не должна превышать определенного процента.

В настоящей прозе все слова должны быть подчеркнутыми (Фр. Шлегель) — так. Но: в настоящей прозе вообще не должно быть видно слов! Потому что всякое торчащее слово и редактор и читатель вправе опротестовать как надуманное, искусственное, инородное. Слова должны быть неожиданными и незаметными.

1) Любой стиль идеологичен, но

2) цель художника — изгнать из своего стиля всякую идеологию.

Не о чем писать, пока мы дети среди детей, люди среди людей, пока видим все вокруг себя обыкновенным. Только перестав жить как все, мы осознаем окружающие нас формы как иное и поражаемся их нелепости или красоте. Но, став особенными, необходимо все-таки продолжать жить, и даже, может быть, еще более, еще полнее, чем все прочие. Тот, кто перестал жить, не заметит и другой жизни.

Одаренные помогают одаренным, сильные — сильным. Такова еще одна сторона справедливости. Слабым, бездарным, неалчущим не поможет никто.

Человек возвышается, вырастает в среде. Достойное, полное уважения по отношению к каждому своему члену общество растит культурного, самодостаточного, процветающего человека. Человек слаб вдвойне, он гибнет как от собственного унижения, так и от унижения ближних. Среда — элемент питающий, она должна всегда быть по уровню чуть выше, как озеро выше реки, вытекающей из него. Чтобы быть счастливым, человек должен процветать безгранично, он каждую минуту должен парить и сдерживать себя в этом парении только внутренними узами, накладываемыми самоиронией.

Человек может направлять свое влияние «вниз», формировать среду по своему вкусу, но лишь в том случае, если есть для него «верхнее» питающее озеро.

Пушкин в 1824 году, за год до декабрьского восстания: «Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется».

Он умнее декабристов. Берегли поэта? Боялись, что выдаст? Нет. Если б захотел, стал бы вместе с ними. Не захотел. Нарочно обходил стороной, потому что боялся оскорбить, разоблачить тщетность и ничтожность помыслов.

У него в голове уже был «Медный всадник».

Почему Пушкин «не мыслитель» в глазах современников? А потому что те требовали мыслей своего рационального уровня. Мыслей шахматного игрока.

Мы забыли о моральном праве на деятельность культурного сословия в бескультурной беднейшей стране, о котором думали в прошлом веке почти все. Для кого пишем? — в отчаянии вопрошал Л. Толстой, яснее других выразивший терзания писателей второй половины XIX века.

Культурную работу в отрыве от жизни большинства населения (ужасной всегда!) необходимо оправдать. Для гения это непреложно: он делит так или иначе судьбу своего народа и, как правило, гибнет.

Жизненный путь гения с его неизбежным концом более знаменателен, чем его творчество.

Достоевский пережил худшее из возможных испытаний еще до того, как стал большим писателем. Уникальный случай оправдания художником своего пути в самом начале.

Чехов носил в себе сердце как смертельно больного человек, которому хочется еще пожить...

История русской литературы — это история святомученичества.

Все советские «культурные династии», околосредствительная мафия, да и просто обласканные судьбой в искусстве, никогда не ставившие под сомнение ни свое место, ни свою роль, ни тем более право на «чистую» жизнь, — это полный разрыв с элементарной моралью, не говоря уж о культуре в рамках той специфической традиции, что веками складывалась в России.

Отчего советскую литературу писали раненые да увечные? Оттого что только они получали моральное право «ничего не делать». Отсюда соответствующий настрой в самой этой литературе и соответствующее отношение к ней.

Критик Д. честен, умен, хорош. Он справедливо

хвалит русскую провинцию. Но откуда посреди этой самой провинциальной чистоты и духовности возникает внутренняя захолустность, обреченная убогость исканий, непроизводительность, нищета мысли, откуда берутся там интеллигенты, больше похожие на юродивых или шутов?

Может быть, непродуктивность русской духовности происходит оттого, что духовность эта всегда была сектантской, прячущейся, углубляясь в одиночество, ограничивалась кругом в н у т р е н н ы х проблем, возникавших из з а т р а в л е н н о с т и ?..

Самая темная для меня вещь — история России. Вся остальная история — рабство и варварство, великие географические открытия, колониальная политика, Новый Свет и пробужденная им энергия — по-человечески проста и понятна. Тут игра свободных сил, ничего искусственного. История же России стоит особняком и существует как бы вне человеческих интересов.

Русский человек во все времена вел себя так, будто ему очень нужно было кого-то, и прежде всего себя самого, обмануть. На этом строилась общественная и политическая жизнь России.

Творя свой суд над Раскольниковым («Преступление и наказание»), мы держим в голове позднейшую раскладку Ницше, тот смысл, который именно он придал словам: тварь я дрожащая или право имею?.. А между тем Достоевский с этим своим вопросом оставался в потоке чаадаевско-гончаровско-тургеневской проблематики, искал пути обретения силы и достоинства русским человеком, преодоления им столь ненавистой ему рабской природы...

Церковно-православное мышление не должно проецироваться на жизнь, становиться ее методом. В непонимании этого — ошибка слабого русского рода. Оно так и должно оставаться отвлеченным, книжным мышлением; тогда оно, само имеющее стиль с л а б ы й, способно порождать с и л ь н ы й стиль рассуждений о себе, чему примером служит русская литература XIX века.

Вера назначена мне природой, а культ я вправе выбирать по признаку его художественной достоверности...

Странный сон. Сам я вроде как Чехов, а живу и пишу на даче у Толстого, где приходится со сдержанной иронией выслушивать слова Софьи Андреевны о том, что «русский мужик — он ведь плут и обманщик, он вор и грабитель...». На крыльце разговариваю с Пушкиным, у которого битовские замашки. Пушкин сообщает мне, что новые главы «Евгения Онегина» получают у него лучше. «Это все заметили, — небрежно говорю я как о чем-то само собой разумеющемся. И тут же, спохватившись, почтительно добавляю: — Значит, во время вынужденного молчания тоже идет творческое развитие?» — «А как же! — досадливо морщится Пушкин. — Об этом и Александр Исаевич говорил...»

Потом я где-то притулился среди них, и у меня была одна забота — как бы не приняли меня за соглядатая.

1980 — 1983.

собрались в полном составе. Кажется, среди нас одно время была талантливая Н. Д. Вольпина. Была грустная горбатая девушка с необыкновенно большими глазами, о которой говорили, что она — бывшая княжна — истинная поэтесса, насколько я могу судить по воспоминаниям тех лет».

В рукописном отделе Государственного литературного музея (ОРФ ГЛМ) имеется фонд Н. П. Кугушевой (в замужестве Сивачевой). Он состоит из писем Н. П. Сивачевой к Д. И. Шепеленко (1897 — 1972) — поэту и художнику. Письма поступили в ОРФ ГЛМ в составе коллекции Е. Ф. Никитиной с запиской, в которой было сказано: «Анастасия Васильевна Патина передала письма Сивачевой, адресованные Шепеленкову Д. И.». Ни дату передачи писем, ни как они попали к А. В. Патиной, ни личность самой А. В. Патиной установить не удалось.

В фонде около 170 писем. Переписка продолжалась почти пятнадцать лет, с 1949 по 1963 год. Как можно заключить из самих писем, корреспонденты не были знакомы лично, но столь длительное письменное общение свидетельствует о совпадении интересов и, очевидно, бесконечном одиночестве этих людей. (Письма Д. И. Шепеленко к Н. П. Сивачевой не сохранились.)

В этих письмах, помимо воспоминаний, бытовых подробностей, жизненных наблюдений, содержится 216 стихотворений Н. П. Сивачевой. Большинство из них написано в Казахстане, под Карагандой, в Оскерском районе, куда Н. П. Сивачева попала осенью 1941 года, сопровождая, очевидно, высланного из Москвы своего второго мужа, Гаудио Гавриловича Бартельса. Уже в Казахстане Г. Г. Бартельс был арестован (в январе 1942 года) и умер в мае 1943 года, о чем Н. П. Сивачева получила официальное уведомление только в июне 1946 года. Из писем Н. П. Сивачевой ясно, что участь ее мужа повлияла трагически на ее судьбу: приехав в Казахстан добровольно, она автоматически была переведена в разряд сосланных и не могла доказать своего русского происхождения, что было необходимо для возвращения в Москву.

17 ноября 1949 г.

У меня здесь написано очень много, целая почти общая тетрадь... Я пишу в таких тяжелых условиях, что вообще удивительно, что хоть такие выходят. А потом ведь поэт, не имеющий слушателей, довольно грустное явление. Одно меня примиряет с моей «графоманией», что творчество дает мне силу и мужество жить... Поэтому смотрите на него как на дневник женский, ибо я очень скромный человек и на большее не претендую, но отдайте мне справедливость, что я все-таки имею право на поэтическое изложение матерьяла — как ни мал мой поэтический стакан, но я пью из своего стакана. Правда это? Вы согласны?.. Я девятый год никому почти не читаю стихов, даже писать мне не на чем... А мне все-таки грустно, если после моей смерти все мои стихи пропадут. А это, наверное, так и будет... Николай Николаевич Минаев мой старый друг, но он всегда меня ругал за неряшливость, за недоработанность стихов, у нас с ним вековая вражда на этой почве, но он мне как-то писал, что я стала писать «хорошие» стихи...

Бродячую скрипку по миру гуляет судьба,
Поют по проселкам тревожные нежные струны,
И жалоб певучих медлительная ворожба
В неверном тумане качается облаком лунным.

Кому эта песня? В тумане кому ворожит,
Кто бросит свой дом и пойдет по неведомым тропам,

Под солнцем цыганским, под небом неласковым
жизнь,
Погони какой и откуда доносится топот?

Но разве догонишь скитальческую судьбу,
И в лунном тумане напрасно протягивать руки,
Забудь свое сердце и близких и дальних забудь
И слушай в ночи одинокую песню разлуки.
12 января 1948 г.

17 июля 1950 г.

Посылаю Вам, не помня зла, художочные потуги
моего сварившегося мозга. Мои почти тропические
стихи. Жара дикая. Читать нечего. Никто мне не
отвечает на письма. Друзья от меня отказались...

«Я одинока, как последний глаз
У идущего к слепым человека».

(В. Маяковский)

Такая кругом меня образовалась пустота.

Был мороз и ветер — все как водится.
Я в чужой неласковой стране
Провожала мужа за околицу
И смотрела, как сверкает снег.

Под колесами автомобильными,
Как дорога, убегает степь.
Надо быть суровой, гордой, сильной,
Чтобы жить. И эту жизнь воспеть.

Чтобы тот, который не вернется,
Жил всегда и был со мной всегда —
В глубине студеного колодца
Синей рыбкой плещется звезда.
24 декабря 1949 г.

5 октября 1950 г.

Настроение у меня траурное — сегодня в ночь 9 лет
как я живу здесь. Думаю начать реквием самой себе...

В переполненных теплушках
Уходили на восток —
Подмосковные опушки,
Деревень седой дымок.
Золотые листопады,
Невысокие мосты,
За кладбищенской оградой
Одинокие кресты.
Одинокие вороны
На пустых балконах дач,
Убегавшие перроны
Догоняли поезда...
5 октября 1950 г.

29 октября 1950 г.

Я недавно получила «комплимент» от моего друга,
одного поэта и художника, что я отстала от жизни лет
на 40. И сейчас я очень расстроена и не знаю, писать
ли мне дальше. Тем более, я сама чувствую правоту его
замечания. Мое творчество — это мой шанс на жизнь!
Сейчас мне очень горько и безнадежно.

«Ты выломай пальцы умелых рук,
Чтоб больше не смели писать».

Стихи его очень хорошие, и это убедило меня больше,
чем слова назидания...

18 января 1951 г.

Мне иногда кажется, что все умерли и я осталась
одна среди снега в огромных пространствах на маленьком
острове...

29 ноября 1951 г.

Я очень часто вижу во сне Москву, не друзей, не
близких, а Москву, хожу по улицам, вижу освещенные

книжные витрины, будто это знакомые букинисты, у которых я раньше покупала себе книги. Знаете, я очень люблю свою Москву и считаю ее, вопреки всему, своей. Помню немного и старую Москву, и Москву голодную и холодную, и ее возрожденную. Если бы я когда-нибудь попала домой, я целый день бы шлялась по улицам и переулкам, и радовалась каждому новому деревцу, цветочку и зданию...

19 декабря 1951 г.

Для себя я очень хочу одного — вернуться домой, посидеть с Вами за поэтическим столом. Доколе, доколе. Хватит ли сил дожидаться мне этого часа. А что он будет — я верю!..

Постоять на шумном перекрестке
Нищенкой с протянутой рукой
Где-нибудь у Каменного моста
Или на углу Страстной.

Может быть, и Вы пройдете мимо,
Статный, ладный, не узнав меня,
Ту, которая была любимой...

Дальше не помню, цитирую на память, это из стихов о Москве, давние...

Если Тамара когда-нибудь будет мне посылку посылать, пусть вложит хотя бы табель-календарь, здесь нету...

О Вы, кто знал, какая тишина
В пустынном доме. Мерный перестук
Глухих часов. А за окном страна
Снегов, просторов, облаков, разлук.
И голос мой, отвыкший говорить
Слова любви, отвыкший звать и петь,
В последний час померкнувшей зари
Вновь начинает радостью звенеть.
И музыкою за строкой стрелка
Рождается из пепла вновь и вновь.
Не устает записывать рука —
Она жива, старинная любовь.
Пусть одиночество. Пустынный дом.
И волчья ночь на страже за окном.
23 сентября 1951 г.

За разрывами черных туч
Ослепительный мир зари.
Ты не бойся ни бездн, ни круч,
Полным голосом говори.
Но вползает лукавый змей,
Из змеиного царства страх,—
Да святится Имя твое
На земле и на небесах!
21 декабря 1951 г.

29 июня 1952 г.

У меня какое-то странное чувство — точно я пишу завещание, а Вы мой душеприказчик и трамплин в бессмертие... Мне очень жаль с ними [стихами.— Н. Р.] расставаться, но я их все знаю наизусть. Правда, я их люблю только тогда, когда пишу, а потом охлаждаваю, только некоторые (очень немного) люблю... Мне ведь предстоит страшное. Вообще я не из трусливых, но иногда, в минуту слабости, вот как сейчас, мне делается очень страшно, даже хочется завять на луну. От одиночества, безмолвия и холода пространства. Извините за паническое письмо...

8 июля 1952 г.

Сегодня «троица», я так люблю этот последний весенний праздник. Сижу одна, все «гуляют»... Утром встала с какой-то радостью в душе (а радоваться совсем

нечему), видимо, от наших предков — язычников, когда они праздновали и чтили в этот день Ярилу, и плясали, и пели, у меня тоже какое-то непонятное ликование с утра... Вместо березок, которых здесь нет, в комнате веточка тополя, букет жимолости и так всякая зелень. Вы недавно писали «тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель» — это мое любимое стихотворение Толстого. Этот вопрос меня всегда очень волнует и интересует. Я хочу спросить Вас — из чего Вы исходите: от образа, от идеи, от музыки? Я только от [нрзб] брожения: «и в глупом сердце барахтается глупая вобла воображения». Я чувствую беспокойство и беру карандаш, а о чем и что получится, я не знаю. Так было вчера. Я ни о чем не думала, т. е. не об этом. Когда-то давно я видела сон, я его забыла, но вчера его вспомнила, когда начала. Видимо, в мозгу есть камеры, где складываются впечатления, а потом когда-то возникают... Я каждый раз столбенею перед этим изумительным чудом творчества... Пиитствовать, в сущности, совершенно бесполезное занятие, оно никому не нужно, а тем более мне, после меня все пропадет, хорошо, если будут разжигать печку. А у меня много здесь. Но я совершенно не могу бросить, как ни старалась. Я хочу, сама для себя, осмыслить себя. Это, до известной степени, приоткрывается завеса чуда человеческой души. Но все равно я ничего не понимаю... Откуда берутся строчки, о которых я даже не думала? Они приходят извне. «Вечно носились они...»

Иду по бескрайним просторам
Дорогой степной наугад.
Глядятся лиловые горы
В зеркальный холодный закат.
Ни горечи, ни сожаленья
(Застынь мое сердце, застынь),
Но пахнет московской сиренью
Размятая в пальцах полынь.
25 мая 1952 г.

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

Смотри, как сердце одичало,
Звериной шерстью обросло.
Над жизнью что-то прозвучало,
И отзвучало, и ушло —
И кровь беззвучна и спокойна,
И мир бесцветен и лукав.
Одна гляжу в тоске невольной
На трепет легких тусклых трав.
14 мая 1952 г.

24 июля 1952 г.

Сегодня получила Ваше письмо с «Крученых» — представьте, мне очень понравилось, никакой зауми я не углядела, особенно второе «больное сердце в красной вазе», скажите ему, что я его благодарю, этого старого футуристического зубра...

19 октября 1952 г.

Вы приняли всерьез мое заявление, что я чрезвычайно почтительна к мастерству. Я писала это почти иронично. У меня совсем другие установки для оценки поэзии. Хотя, конечно, неряшливость не ставлю в заслугу. И как бы ни писал Брюсов виртуозно, я не считаю его настоящим поэтом (хотя у него есть хорошие стихи). Сатир Ник. Ник. Минаева с неприличными и грубыми вставками я совершенно не знаю. В жизни он чрезвычайно не любил вульгарностей. Грыз меня за самую «невинную» вольность. Как поэт он мне чужд, хотя у него есть удачные вещи, главным образом о природе. Он арктически-холоден в лирике, как его пророк — Брюсов. Мы дружим с ним с 1919 года не

как поэты, ибо он моих стихов не любит. Жизнь как-то столкнула нас в молодости, но как совершенно различных людей, без общей платформы, и мы все время поддерживали хорошие отношения... А то, что я пишу стихи в моих условиях, говорит само за себя. И я не потеряла душу, благодаря сознанию необходимости творчества, его неотвратимости...

Д. И. Шепеленко.

Оскудело сердце. Опустели
Переполненные музыкой недели.

Над душой, исчерпанной до дна,
Наступила ледяная тишина.

Листья золотые надо мной
Разговаривают с тусклою луной.

И стоят засохшие цветы
Как надгробные забытые кресты.

Эту грусть вовеки не изжить,
Эту грусть вовек не разлюбить.
16 сентября 1952 г.

Ковшом Большой Медведицы
Не зачерпнуть до дна.
Сверкает, льется, светится
Ночная тишина.

Уйди и встань под звездами,
И руки протяни,
Лови в прозрачном воздухе
Летящие огни.

И в крови человеческой
Не звездное ль вино
Крепчайшим соком вечности
В стихи претворено.
9 ноября 1952 г.

27 ноября 1952 г.

Мне недавно прислали книгу Б. Пастернака, прозу «Повесть». Прочитала с большим удовольствием, и в прозе он такой же губастый с чистой душой большой ребенок, своенравный и милый фантазер-причудник. Я мало с ним знакома, но большую нежность к нему питаю...

Осенних ржавых листьев
Сухое бормотанье,
Закат огнем неистовым
На праздник увяданья.
Малиновый малинник,
Червонный ясный клен
И розовый осинник
Струят легчайших звон.
В серебряной полныи
Запутались листы —
Небесной благостыни
Бессмертные цветы.
27 сентября 1952 г.

2 декабря 1952 г.

Я живу полной внутренней жизнью... Правда, жизнь меня всегда баловала — я всегда имела хорошую любовь, хорошие домашние условия (не в смысле только матерьяльном). Я жила в атмосфере большой нежности и немного тепличном воздухе (это объясняется моим здоровьем). Когда я попала сюда, я сказала — так надо, этот урок я должна выполнить с честью. Если Вы хвалите мои стихи — значит, я выполняю этот урок, не правда ли?!.. Бывают периоды усталости, обид, болезни,

когда человек, даже самый огнеупорный, теряет «форму». В такие дни я спасаюсь иронией... Это проходит. Возьмешь себя в руки и снова станешь человеком. Ведь это тянется одиннадцатый год. За что же меня мой собственный вихрь ударит? Ведь я не выпускаю ни злых, ни вредных мыслей, ни проклятий никому на свете. И я верю в себя. «Я — есмь». Я начала писать в очень раннем детстве и всегда, всю жизнь жила в этом сопровождающем меня облаке стихов. У меня редкие дни бывают, когда я выхожу из этой атмосферы. Пусть я не всегда реализую. Но какой-то ритмический перестук никогда не покидает меня. Самое первое стихотворение вышло так. Я, кажется, еще даже не училась тогда. Несколько дней у меня что-то внутри, не облекаясь в слова, стучало во мне. Я заболела, лежала в постели. Вдруг это что-то записалось. Я была так обрадована и потрясена этим чудом, что позвала маму и ей прочитала. Она тоже изумилась.

Люблю я пышную природу,
Прекрасен мне мой темный лес,
Но мамочку родную
Люблю я больше всех... и т. д.

Мы жили в Уфе с осени 1914 (когда началась война) до осени 1915 г. Год жили. Сперва в гостинице «Россия». Потом сняли дом у старушки-польки по улице, которая вела к «Поповским», «Архиерейским» оврагам, забыла название. Я очень любила уходить на меловые утесы на Белой, там ложилась на живот и смотрела вниз. Или стояла на утесе и орала (буквально) стихи... Книги брала в Аксаковской библиотеке... Я очень люблю старые библиотеки (я их здесь часто вижу во сне, чаще, чем все остальное). [Та] была, если я помню, очень высокая и прекрасная. Воздух в них всегда особенный, мысли, собранные там, материализуются в воздухе. Я вот сейчас пишу, и даже сердце мое замирает при одном воспоминании. Как храм. Может, это не так, а у меня такое осталось впечатление. Я даже помню библиотекаршу: высокая, красивая, корона из кос наверху...

БУЗУЛУК

Седой Бузулук и пыль.
Улиц сухие русла.
И кони. Тусклый ковыль.
И за Самаркой пустынь.
«Тоска по родине» в саду.
Тихие дни и ночи
Ленивой жизни идут,
Не зная бессонниц и одиночеств.
За стеною путь на Москву
У сгорбленного вокзала.
Вековая родная тоска
В кочующем сердце прижалась.
По шпалам года наугад
Куда лабиринтами линий?
Но память хранит навсегда
Степное татарское имя.
1922 г.

27 декабря 1953 г.

... Так же Пастернаку. Попались его стихи. И так потянуло. Я его знаю мало, шапочное знакомство. Последний раз его видела на похоронах А. Белого. Но считаю его детски чистым, очаровательным в своей этой трогательности, детскости. И очень люблю. Тем более он так был похож в профиль на Пушкина юношу. Это было так давно. И он на 9 лет старше меня, а я уже — Мафусаил...

Б. Пастернаку.
«Сестра моя — жизнь». Мальчишеский профиль
арапский.
В трюмо убегает зеленый пленительный сад.

Московское детство — стихами и няниной сказкой,
И скрябинские шаги по-прежнему в доме звучат.
По старой Мясницкой, как в детстве,

спешат экипажи.

Ломаются строчки романтикой скрябинских строк.
И лишь воронье в приоткрытую форточку скажет —
В какое тысячелетие их ветер скитаний увлек.

Молодость кончилась. Долгие годы скитанья.
Кружатся вьюги, поют голубые снега.
Я во сне прихожу, как влюбленная, на свидание
К далекой «Сестре», что, как молодость,
мне дорога.

16 декабря 1953 г.

ДОЖДЬ

Прозрачный бисер на стекле,
Узор тончайший вышит.
Дожди проходят по земле,
Дожди стучат по крыше.

Спустилось небо на дома,
И в этой серой скуке
Попробуй не сойти с ума
От ветра, от разлуки,
От тусклой прямизны пустынь,
Где стонет под дождем полынь.
25 января 1953 г.

30 октября 1955 г.

Вообще все мы возмутительно и катастрофически
стары! Поэтому и болезни на всех нас навалились.
Откуда что берется! Вот «казенная землемерша» и
караулит, чуть зазеваешься — и готово! Кому кроме
Пастернака можно простить этот образ, а у него заме-
чательно, лучше не скажешь. Я его лично знаю мало,
но очень нежно к нему отношусь. Он большой ребенок,
пухлые губы, глуховатый и выразительный голос. К
нему надо как-то бережно относиться...

Здесь древние степи
И сопки пустынь.
И прячется ветер
В дурмане полынном.

Здесь судьбы мирские
Запутаны круто.
И слезы людские
Прозрачнее утра.

Лишь птицы, быть может
(О, символ свободы!),
На песни положат
Безумные годы

Тоски одичалой,
И древние степи,
И сердца усталого
Медленный трепет.
12 июня 1955 г.

Только в 1956 году с помощью друзей Н. П. Сивачевой удалось выбраться из Казахстана. Проживание в Москве было запрещено, и она поселилась в городе Малый Ярославец, где снимала койку у не очень любезной хозяйки. В конце жизни она ослепла (последние письма к Д. И. Шепеленко написаны чужой рукой под ее диктовку). Умерла Н. П. Сивачева 22 апреля 1964 года в доме для престарелых.

Из писем Н. П. Сивачевой ясно, что все написанное ею до войны и оставленное в Москве погибло, в том числе сброшюрованные сборники «Некрашенные весла» и «Проржавленное дно».

В письмах есть ссылки на передачу стихов профессору Розанову [И. Н.]: «А отчего Вы ничего не пишете о Розанове? У него хранятся мои стихи?..» (письмо от 26 марта 1953 года). И еще: «Передали ли Вы мои «шедевры» Розанову? Все или нет? Я очень боюсь за свое бессмертие! Прямо дрожу...» (письмо от 24 сентября 1953 года).

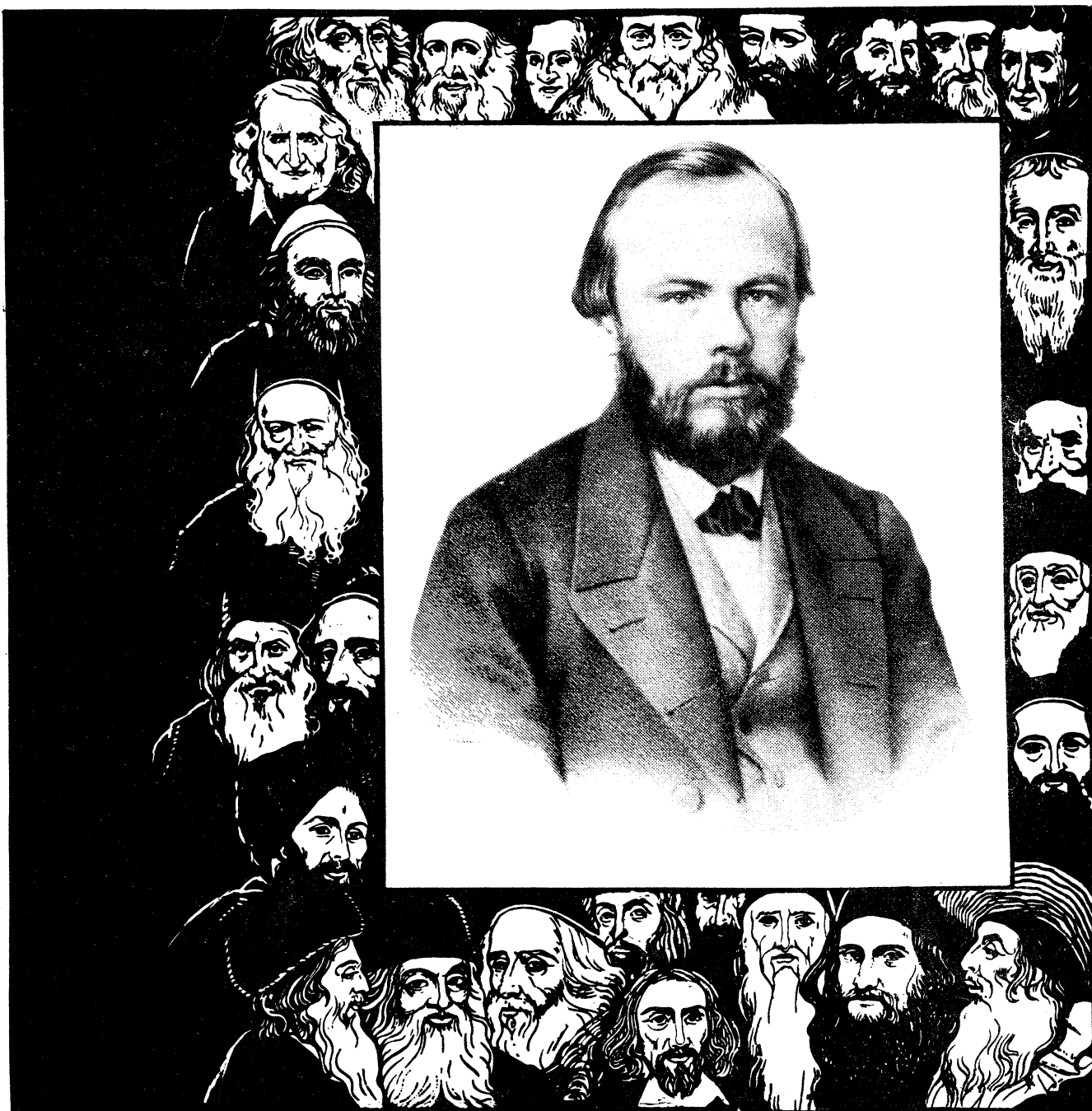
Свершилась ли эта передача, неизвестно.

Еще одно упоминание о попытке сохранить свои литературные труды имеется в письме от 27 сентября 1959 года: «Я себя очень плохо чувствую. Я занята книгой чужой, которая скоро должна выйти. Много хлопот, надо писать в Совет Министров, чтобы разрешили получить гонорар. Что я сделала хорошего, это в музей отравила свои стихи, которые зав. музеем просил меня прислать (я, конечно, сама просила его разрешения прислать свои стихи). Будут храниться вместе с книгами и рукописями мужа моего Сивачева. Я очень рада, хотя за это не получу ни копейки. Вы знаете, что мне после смерти моей их некому оставить. А моя хозяйка продаст их на обертку для селедки в лучшем случае...»

Поэтическое наследие Н. П. Сивачевой не обнаружено ни в одном из хранилищ. Проверить, удалось ли ей сохранить свои стихи путем передачи их в архив И. Н. Розанова и музей А. М. Горького, где находятся бумаги ее мужа М. Г. Сивачева, оказалось затруднительным: архив И. Н. Розанова, переданный в рукописный отдел ГБЛ, до сих пор не обработан до конца, а в музее А. М. Горького бумаги Н. П. Сивачевой не числятся.

Публикация, вступительная заметка,
послесловие и примечания
Нины РУБАШОВОЙ.





ДОСТОЕВСКИЙ И ЕВРЕЙСТВО

Среди посетителей Вольной философской ассоциации в Петрограде в первые послереволюционные годы обращал на себя внимание глубиной и оригинальностью своих суждений Аарон Захарович Штейнберг (1891 — 1975). Надолго запомнились современникам прочитанные им в Ассоциации в октябре 1921 года два доклада под заглавием «Достоевский как философ».

В 1922 году А. З. Штейнберг закончил книгу «Система свободы Ф. М. Достоевского», в основу которой и положил эти доклады. Книга вышла в 1923 году в Берлине, куда философ был выслан на знаменитом пароходе с группой замечательных русских ученых. Штейнберг был давно на подозрении у советских властей: достаточно вспомнить его арест вместе с Александром Блоком в феврале 1919 года за сотрудничество в левозсерговских изданиях, о чем Штейнберг вспоминал в сборнике «Памяти Александра Блока» (Пб. 1922, стр. 35—53).

Характерно начало книги «Система свободы

Большинству читателей и почитателей Достоевского вопрос об отношении великого писателя к еврейству и к историческим судьбам еврейского народа представляется до чрезвычайности простым. Разве не ясно с первого же взгляда, что в лице Достоевского мы имеем дело с одним из типичных представителей того преисполненного вражды к еврейству течения, к которому сначала на Западе, а затем в России прочно привилось псевдонаучное, но отнюдь не двусмысленное название «антисемитизм»? Можно ли действительно хоть сколько-нибудь сомневаться в том, что Достоевский, попросту говоря, всю жизнь неизменно оставался непоколебимым в своей предвзятости «жидоедом»? Таково именно общее мнение — и у нас и за границей, среди не-евреев, как и среди евреев, взгляд, нашедший свое выражение уже и в литературе. «Достоевский, Федор Михайлович, — так начинает свою статью о нем в «Еврейской энциклопедии» вдумчивый критик и тонкий знаток Достоевского А. Г. Горнфельд, — один из значительнейших выразителей русского антисемитизма». «Ни серьезных доказательств, — продолжает он несколькими строками ниже, — ни своеобразных идей в его обличениях не замечается; это — банальный антисемитизм». Нечего и говорить, что и «банальный антисемитизм» Достоевского, если бы определение Горнфельда было бы хоть отдаленно правдоподобно, должен был бы представлять огромную загадку, достойной обстоятельного исследования. Разве заурядное в незаурядном менее своеобразно и таинственно, чем все из ряда вон выходящее? Или Достоевский не был тем насквозь «своеобычным», как он сам иногда выражался, гением, печать которого должна лежать на всех его проявлениях без исключения? Не указывала ли бы сама «банальность» отношения Достоевского к еврейству на некую непреодолимую особенность в судьбах еврейского народа, на нечто роковое в его знаменательнейших исторических встречах и столкновениях? Достаточно поставить эти вопросы, чтобы сопоставление «Достоевский и еврейство» выступило во всей своей философской, я бы сказал, метафизической значительности. Подведением Достоевского под одно из убудочных (уже по самой своей этимологии) понятий современного политического языка дело, во всяком случае, не исчерпывается. Как бы Достоевский ни относился к еврейству, его отношение не может не быть отношением, ему одному присущим, некой характерной чертой в его особом и неповторимом духовном облике. Так оно и должно быть прежде всего постигнуто. Лишь после того, как эта работа будет сделана (настоящий очерк чуть ли

Ф. М. Достоевского»: «Подвиг познания добра и зла» — вот чем, говоря словами самого Достоевского, представляется автору весь жизненный путь национального философа России... Достоевский — национальный философ России. В этом последний смысл той великой «тайны», которую Достоевский с собой унес и «которую мы без него разгадываем...». Россия и Достоевский, Достоевский и Россия — как вопрос и ответ, так и ответ и вопрос. Только с Россией и соизмерим Достоевский, только с Достоевским соизмерима и она. Понять Достоевского — это то же, что понять Россию; понять ее — это то же, что пережить ее в творческом умозрении Достоевского».

В эмиграции Штейнберг преподает в университетах Европы и США, а после войны — Израиля и сотрудничает в русской зарубежной прессе.

Публикуемая ниже статья А. З. Штейнберга «Достоевский и еврейство» была напечатана в парижском журнале «Версты» (1928, № 3, стр. 94—108).

не первая попытка в этом направлении), можно будет подойти к встрече Достоевского с еврейством с той или иной, все равно, положительной или отрицательной оценкой. Такая оценка предполагала бы, однако, — и это следует особенно подчеркнуть — решение более объемлющего вопроса: о последнем смысле исторического сосуществования русского и еврейского народа, вопроса, для которого, в свою очередь, не безразлично, как относится к еврейству Достоевский.

I

Господствующее представление о Достоевском как о стороннике столь распространенного во второй половине XIX века антисемитизма поверхностно. Сделать это очевидным — ближайшая задача настоящего очерка. Однако поверхностное впечатление все же — впечатление от поверхности, и, следовательно, в самых творениях Достоевского, в их внешнем облике есть нечто, что такое впечатление вызывает и подсказывает. Разберемся же в тех моментах, которые дают основание причисления Достоевского к такой убежденности к разряду жидоненавистников: заблуждение большинства — почти всегда односторонняя проекция истины; лишь уяснив ограниченную их правомерность, мы сумеем их вполне преодолеть.

Первое, и, быть может, решающее, основание для причисления Достоевского к заклятым ненавистникам еврейского народа кроется в его словаре. Словарь писателя, использованный им словесный материал очерчивает его поприще не менее отчетливо, нежели самые заметные и неизгладимые следы его деятельности. Ведь слово его не только орудие открывения мысли и воли, но часто также вестник сокровеннейших дум, недосказанных и невыраженных чувств. Что бы ни говорил и ни доказывал Достоевский по поводу своего отношения к еврейству (ср. ниже, V), из словаря его никак не вычеркнуть односложное, но слишком выразительное слово «жид». К моменту вступления Достоевского в русскую литературу в ней, как и в русском языке вообще, уже боролись за преобладание «жид» и «еврей». Слова эти перестали быть синонимами: у Пушкина и у Лермонтова вполне определилась та глубокая пропасть, которая отделяет «проклятого жид» от «еврея» и его «еврейских мелодий». Достоевский отлично знал, что ему как русскому писателю, ответственному за судьбы родного языка и родного народа, следует сделать выбор; но вместо этого он до конца жизни, говоря и от собственного имени, непрерывно колебался (ср. Дневн. Пи-

сат. 1877, III, гл. II, I). Чтобы убедиться, до какой тонкости он тут взвешивал все приличные и неприличные возможности, достаточно вспомнить две строчки из рассказа о пребывании отца Карамазова в Одессе: «Познакомился он тут сначала, по его собственным словам, со многими «жидами», «жидками», «жидишками» и «жиденятами», а закончил тем, что под конец даже не только у жидов, но и у евреев был принят. Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное умение сколачивать и выколачивать деньги» (кн. I, гл. IV, срав. также кн. VII, гл. III). «По его собственным словам»... Невольно улыбаешься, когда знаешь, что эта же гамма в разных сочетаниях многократно повторяется и в «собственноручных» письмах Достоевского к жене (ср., напр., письма от 30. VI. 79 г. и 4. VIII. 79 г.; время работы над «Карамазовыми»). Нет, в данном случае Достоевский пишет не со слов Карамазова, а, напротив того, Карамазов вторит ему, пользуется словарем самого Достоевского, тем словарем, в котором он всегда имел под рукой для обозначения представителей «вечного племени» целый набор верно действующих словесных инструментов: от простого и самого по себе свободного от всякого оттенка недоброжелательства слова «еврей» вплоть до беспардонного и граничащего с неприличием «жидишки». Как тут не воскликнуть — «жидоед»?

Второе не менее веское основание для причисления Достоевского к завязтым юдофобам легко найти в тех чертах, которыми он наделяет отдельных созданных им евреев, незабываемых, как подлинная, полновесная реальность. Правда, в кругу живых созданий Достоевского еврей лишь редкий гость, но стоит ему понасться тут на глаза — и перед нами человеческое существо, почти лишенное человеческих черт, некая химера во плоти, и душой и телом чуждая миру прочно укорененных в жизни людей. Таков, например, уже Исай Фомич из «Мертвого дома», «смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства», «уморительный и смешной», полный «беспримерного самодовольства» и, «разумеется, в то же время ростовщик» (гл. IX и IV). Автору «Записок» кажется поэтому «очень странным, что каторжники вовсе не смеялись над Исай Фомичем», и объясняет он это тем, что «наш жидок», верная копия «Гоголева жидка Янкеля», «служил, очевидно, всем для развлечения и всегдашней потехи». Ведь в конце концов Исайка был «везлобив, как курица», и с ним можно было забавляться, «как забавляются с попугаем, собачкой».

Таков первый попадающийся у Достоевского еврей, последовательное развитие общего понятия «жид» до более конкретного — «жидка». Что мы тут имеем дело действительно с «экспликацией» некоей априорной, т. е. попросту предвзятой формулы, прямо следует из подчеркнутой мимоходом самим Достоевским решающей для него литературной традиции (Гоголь!), но особенно из вводного «разумеется». Следует это также из одного мелкого, но весьма характерного штриха, который для читателя, незнакомого с еврейской обрядностью, остается совершенно незаметным: Достоевский описывает со всеми подробностями, как встречал Исай Фомич в пятницу вечером наступившие субботнего дня, и рисует при этом своего «героя» в молитвенном облачении с филанториями на лбу и на руке — вещь совершенно невозможная, прогизоврекающая всем основным правилам еврейского ритуала. Подобного рода ошибка, почти невероятная у Достоевского, может быть объяснена исключительно тем, что, глядя на живого еврея, он его как бы и не видел вовсе, вернее, видел сквозь некую предвзятую формулу. Недаром в этом описании молитвенных излияний «жидка» мы снова встречаем вводное «конечно»: «Конечно, все это было предписано обрядом молитвы... законом».

«Закон!» Уже ко времени «Записок из Мертвого дома» у Достоевского, значит, сложилась некая цельная идея о существовании современного еврея, наперед определявшая в каждом отдельном случае образ его и подобие. Естественно поэтому, что и другой созданный Достоевским еврей, вырбест Лямшин в «Бесах», при всем своем своеобразии, в общем и целом — «наш жидок» с характерною для него смесью коварства и глупости, робости и нахальства, тщеславия и самодовольства. И он, «разумеется», был ростовщик. Есть, правда, в Исай Фомиче, как и в Лямшине, черты, которые заставляют думать, что Достоевский и сам видел в них нечто более значительное, нежели одну только собачью способность ощетиниваться и огрызаться или добросердечие цыпленка. Однако здесь уже одно из тех противоречий в отношении Достоевского к еврейству, о которых мы естественнее говорить ниже (ср. V). Одно несомненно: еврей как тип обладает у Достоевского вполне устойчивыми чертами, и для известного рода человеческого характера, отталкивающего и в то же время по-своему занимательного, опасного и вместе с тем до уморительности смешного, самым подходящим вместилищем представляется Достоевскому современный, все равно — преданный вере своих или крещеный, еврей.

Вот почему и самые светлые из героев Достоевского не свободны от жидобоязни, от жидоинства. Нельзя, например, пройти мимо того, что не кто иной, как богобоязненный Алеша на вопрос о том, «правда ли, что жида на Пасху детей крадут и режут», не находит лучшего ответа, чем «фарисейское»: «Не знаю» («Карамазовы», кн. II, гл. III).

Методологический педантизм мог бы, правда, выдвинуть возражение: не следует ли строжайшим образом различать личность художника, автора и то лицо, от имени которого ведется рассказ, не говоря уже о созданных творческой фантазией автора героях? Как можно отождествлять повествователя в «Записках» или лицо, рассказывающее о «бесах» и, как известно, действующее в самом романе, с Ф. М. Достоевским? Чтобы снять с очереди и эти последние, не совсем неосновательные сомнения, обратимся к тем писаниям Достоевского, в которых он говорит о евреях и о еврействе уже не через подставных лиц, а от собственного имени и собственными словами.

II

От собственного имени и собственными словами Достоевский говорит о евреях и о еврействе при всяком удобном случае, прежде всего в своем «Дневнике Писателя». Одна из статей этого журнала (март 1877 г.), как известно, даже целиком посвящена «Еврейскому вопросу» и является ответом на письмо злополучного А. Ковнера, весь материал о котором ныне собран и издан Л. П. Гроссманом. Как раз эта статья и считается обыкновенно «главным антисемитским произведением» Достоевского. Об истинном настроении, выразившемся в этих посвященных еврейскому «вопросу» рассуждениях, по существу, речь впереди (ср. ниже, V); здесь достаточно подчеркнуть лишь те моменты, которые как будто окончательно и неопровержимо подтверждают факт «банального антисемитизма» Достоевского. Задача на первый взгляд довольно легкая. Достоевский выдвигает против евреев обвинение, которое поистине иначе как «банальным» никак не назовешь: «евреи, которых столь много на свете», по его словам, прирожденные эксплуататоры, только в ждушице, на какую бы им «свежую жертвочку» набросаться: в Америке эта жертва, по свидетельству последней книжки «Вестника Европы», — негры, в России такая же участь ожидает освобожденное от крепостного ига крестьянство. Да и как бы иначе: ведь для евреев другие народы «хоть есть, но все рано надо считать, что как бы их не существовало». И вот евреи, полные гадливости и презрения ко

всем прочим попутчикам своим на земном пути, ныне воссели в Западной Европе на золотом мешке, чтобы оттуда направлять свою разрушительную политику против последнего оплота христианства на земле — против России. Политика Биконсфильда-Дизраэли, этой *piccola bestia*, как называет его в другом месте Достоевский, была бы непонятна, если бы не допустить, что она ведется «отчасти с точки зрения жида». Если сорок веков весь мир единодушно ненавидит и преследует еврейство, «то с чего-нибудь да взялась же эта ненависть и что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть. Ведь что-нибудь значит же слово все». И Достоевский спешит найти достаточное основание и оправдание для этой вековой ненависти: оно — в «неизменной идее еврейского народа», «в идее иудейской, охватывающей весь мир, вместо неудавшегося христианства», в том присущем евреям «материализме», в «слепой плотоядной жажде личного материального обеспечения», которая прямо противоположна «христианской идее спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей». Практический вывод, к которому приходит на основании всех этих «соображений» Достоевский, сводится к тому, что за евреями в России хотя и следует признать «все, что требует человечность и христианский закон», т. е. «полнейшее равенство прав с коренным населением», однако лишь после того, как сам еврейский народ докажет способность свою принять и воспользоваться правами этими без ущерба коренному населению. Впрочем, и эта оговорка еще не является последней. Статья кончается вопросительным знаком: удастся ли евреям когда-либо доказать, что они «способны к... братскому единению с чуждыми им по вере и по крови людьми?». Что удивительного, что при таком подходе к «еврейскому вопросу» Достоевский в конце концов дошел даже и до полного исключения еврейства из братского союза человечества? Со всей откровенностью он это, правда, никогда не выразил, но заключение это напрашивается само собой при более пристальном изучении завершающей всю его деятельность речи о Пушкине. В этом слове, в котором Достоевский так проникновенно превозносит всечеловеческий и истинно христианский дух русского народа, появляется неожиданно новое понятие: понятие «Арийского племени». До последней глубины постигнутое и «с любовью» воспринятое русским народом всечеловечество неожиданно отождествляется лишь с «племенами великого Арийского рода», т. е. того, из которого *ex definitione* исключены, конечно же, не монголы или «семиты», а евреи. Под конец своей жизни Достоевский, таким образом, стал, вероятно, не без влияния Победоносцева, пользоваться даже недвусмысленной терминологией плоского западноевропейского расового антисемитизма. Значит ли это, что и более пристальное исследование дает в конце концов тот самый результат, который и без всяких изысканий бросается в глаза, что, другими словами, первое впечатление единственно обоснованное?

И да, и нет. Да! — если полагать, что дух человеческий, подобно геометрической фигуре, всеми сторонами и углами своими лежит как на ладони, целиком умещается на плоскости; нет! — поскольку мы осознаем, что сердце человеческое — бездонной глубины, таинственный и замкнутый в себе мир, полный неразгаданных намеков и непреодолимых противоречий. Но именно этим последним знанием, этим более глубоким проникновением в истинную сущность человека мы не в малой степени обязаны прежде всего творческому духу Достоевского, тайновидцу, черпавшему мудрость свою почти исключительно из собственного своего сердца. Как же после этого допустить, что как раз Достоевский, в каком бы то ни было своем проявлении, а значит, и в своем отношении к еврейству, поддается измерению меркою, окончательно лишённую направления в глубину?

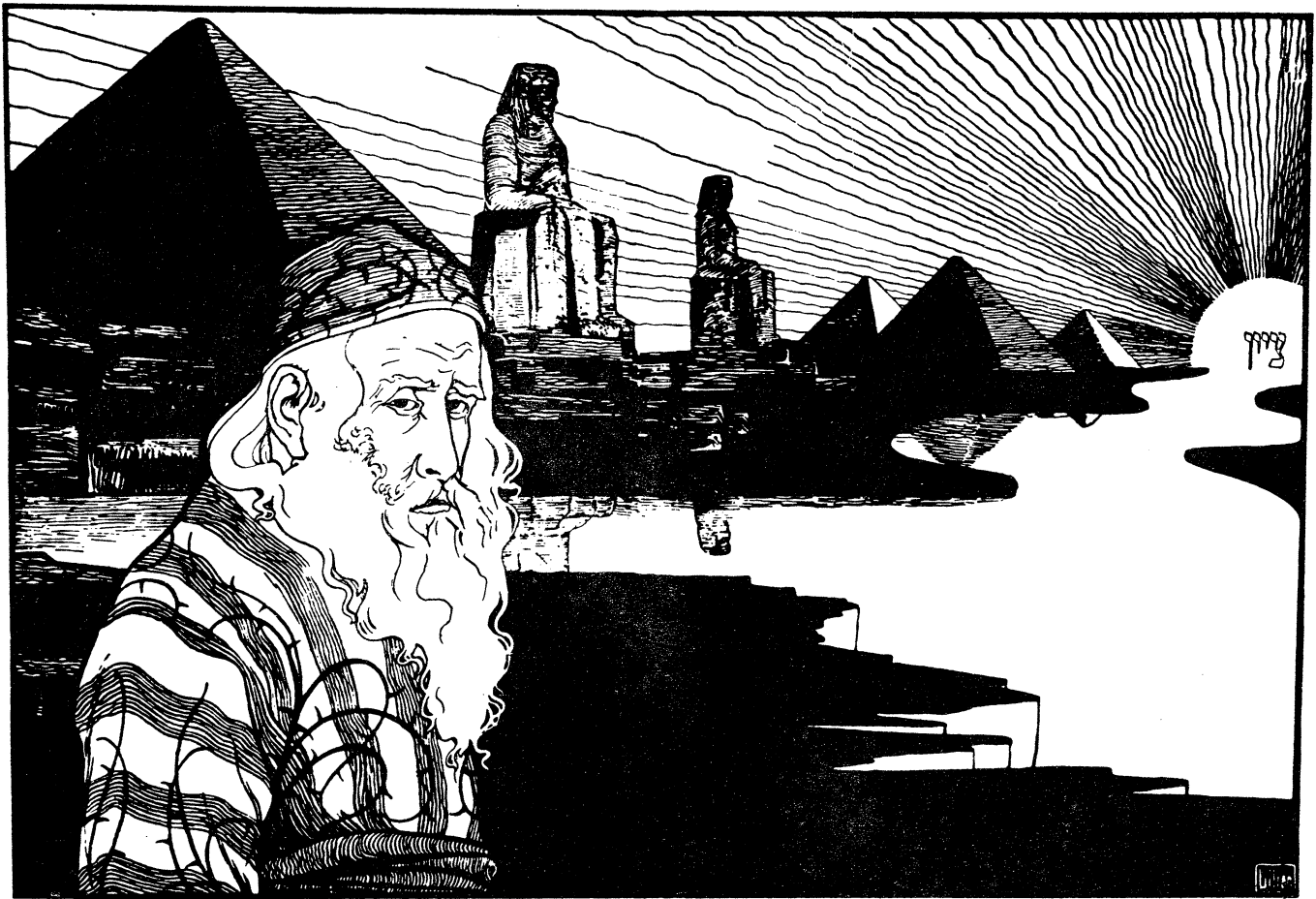


III

Недоброжелательное отношение Достоевского к еврейству несомненный факт. Еще больше, чем все приведенные до сих пор свидетельства, об этом говорит тот стиль, в котором Достоевский излагает свои касающиеся еврейства «соображения»: стиль извилистый и скользящий, уклончивый и сбивчивый, так и пестрящий оговорочками и оговорочками, контраргументами в квадрате и контраргументами в кубе (ср., напр., хотя бы заглавие «Но (!) да здравствует братство», Дневн. 77, III). Но именно этот-то стиль, для графического изображения которого пришлось бы, пожалуй, срисовать Волгу-матушку вместе со всеми ее притоками, именно он придает антиеврейскому настроению Достоевского какой-то особенно загадочный характер и заставляет напряженно искать его скрытые глубоко под поверхностью корни.

Мимоходом уже было отмечено, что представление Достоевского о евреях ни в какой мере не было обобщением его случайного жизненного опыта, как это часто бывает у дюжинных «антисемитов», а, напротив того, само являлось конкретизацией некоей априорной идеи о еврействе, которая тем самым определяла для него и индивидуальный облик отдельных изображенных им евреев. Чтобы подтвердить это с новой стороны, напомним тут только еще об одном афоризме современного Достоевскому «Исайи»: «Был бы пан Бог да гроши, так везде хорошо будет». Мы видели, что к этому изречению, правда, с большими оговорками, сводится для Достоевского идея еврейства и в «Дневнике Писателя». Трудно допустить, что своим проникновением в эту якобы еврейскую корреляцию между Богом и грошами Достоевский обязан был Исае Фомичу Бумштейну. Но и литературная традиция, на которую указано было выше, далеко не вполне разрешает вопрос об источниках антиеврейской теории Достоевского. Настоящие ее корни, корни, многообразно и многосложно разветвленные, в истории духовного развития самого Достоевского.

Еще до того, как Достоевский вступил на жизненное поприще, еще в самом раннем его детстве, еврейство произвело на него такое мощное, неотразимое впечат-



ление, что он уже во всю свою жизнь никогда не мог от него отделаться. Впечатление это восходит не к тому или иному отдельному еврею (да и где бы мог юный Достоевский встретить евреев в столицах тогдашней России?), но и не к какому-либо более или менее случайному литературному явлению, а к самому источнику жизни и творчества еврейского народа, к нерукотворному памятнику еврейской и христианской веры: к Библии.

Вместо всех прочих биографических свидетельств сошлюсь здесь на свидетельство самого Достоевского, запечатленное им в «Братьях Карамазовых»: «К воспоминаниям домашним причитаю и воспоминания о Священной Истории... Была у меня книга с прекрасными картинками, под названием: «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю». Из рассказа Андрея Михайловича Достоевского мы знаем, что эти вложенные в уста старцу Восиме слова являются не чем иным, как точнейшим воспроизведением фактов из биографии Федора Михайловича. Но особенно ценно и значительно для уяснения духовного развития Достоевского его тут же следующее признание, как его «в первый раз посетило некоторое проникновение духовное, еще восьми лет от роду». Мы сейчас убедимся, что и этот записанный Алешей со слов старца рассказ есть повествование Достоевского о собственной его духовной судьбе.

Старец рассказывает, как он «первый раз принял в душу семя Слова Божия осмысленно». «Повела матушка меня в храм Господень... Вышел на середину храма отрок с большою книгой, такую большою, что показалась мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на аналой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, что во храме Божиим читают». Эта книга была Библия, читали же из нее о «муже в земле Уц, правдивом и благочестивом», о рабе Господнем

Иове и о поединке его с сатанюю. «И предал Бог своего праведника, столь им любимого, дьяволу... И разодрал Иов одежду свою и бросился на землю и возопил: «наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в землю, Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века!» Отцы и учителя, — прерывает тут свой рассказ старец, — пощадите теперешние слезы мои, ибо все младенчество мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда детской восьмилетнею грудкой моею, и чувствую, как тогда, удивление и смятение, и радость».

«Господи, что это за книга и какие уроки!» — восклицает старец и проникновеннейшими словами убеждает «иереев Божиих, а пуще всего сельских», сделать наконец Писание всенародною книгою. «Разверни-ка он, — обращается старец к священнослужителям, — эту книгу и начни читать, без премудрых слов и без чванства, сам любя словеса сии... Не беспокойся, поймут все, все поймет православное сердце! Прочти им об Аврааме и Сарре, об Исааке и Ревекке, о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне с Господом и сказал: «страшно место сие», и поразишь благочестивый ум престололюдина». Так проходят перед нами в поучениях старца длинную чередую озаренные нездешним сиянием Ветхозаветные богоборцы и праведники, мученики и грешники вплоть до «прекрасной Эсфири и надменной Вастии». Лишь под конец, как бы спохватившись, старец прибавляет: «Не забудьте тоже притчи Господни, преимущественно по Евангелию от Луки (так я делал), а потом из Деяний Апостольских обращение Савла (это непременно, непременно!), а наконец, и из Четьи-Миней...» Какое поразительное предпочтение Ветхого Завета Новому. «Ибо люблю книгу сию!» — говорит старец о Священном Писании евреев. «Какое чудо и какая сила, данные с ней человеку. Точно изваяние мира и человека и характеров

человеческих, и названо все, и указано на веки веков».

Если еще до недавнего времени можно было сомневаться, что тут перед нами исповедание самого Достоевского, то теперь, после напечатания писем Федора Михайловича к Анне Григорьевне, и последние сомнения должны исчезнуть. Вот что пишет Достоевский 10 июня 1875 года из Эмса:

«Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу по комнате; чуть не плача... Эта книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был тогда еще младенцем». Как и светлейший из созданных им образов, так и сам Достоевский обязан был душою своей души, ожившим в нем с новою силою Словом Божиим — «сей книге»: Закону, Пророкам, Писаниям.

И в этом сердце могла зародиться и расцвести вражда к тому народу, который понес божественную книгу в мир, который ради нее принял на себя вся муку исторического существования? Мы видим: «банальный» антисемитизм Достоевского перестает вдруг казаться заурядным и простодушным и облекается в какую-то загадочную, чтобы не сказать противоестественную, форму. Первое впечатление было, значит, все-таки обманчиво, и лишь теперь вопрос об отношении Достоевского к еврейству начинает вырисовываться во всей своей сложности.

IV

Чтобы заострить открывшееся перед нами противоречие до конца, необходимо сделать шаг как бы в сторону и поставить вопрос: а каково было отношение Достоевского к другим народам помимо еврейского? Его художественные и публицистические произведения дают богатейший материал для разрешения этого вопроса не только в отношении к ближайшим соседям русского народа, к полякам, например, или к татарам, но и ко всем передовым национальностям современного Запада: к немцам, французам, англичанам. И право, трудно сказать, кому больше достается от Достоевского: сородичам ли убогого Исаяи или соплеменникам и современникам повстанцев 63-го года, Бисмарка и Мак-Магона. Поляк, по Достоевскому, суетлив, чванлив, труслив; немец хоть и добродушен и добропорядочен, но туп, как неотесанная колода; в противоположность ему француз смышлен и ловок, но зато пуст, как дырявый мешок; не чета француз — англичанин, на которого можно положиться, как на каменную гору, но упаси Бог искать в нем ума; швейцарец — тот просто «ослик», а турок или татарин — что, впрочем, может быть хуже татарина: «Шуррум-буррум»?.. Но что всего печальнее: если они вместе и каждый из них порознь осуждены историей на неизбежную гибель, над всеми произнесен окончательный приговор. Потому что есть лишь один народ на свете, которому принадлежит будущее, который призван владеть миром и спасти его: народ русский, народ-богоносец.

Эту заветнейшую свою мессианскую думу и мечту Достоевский, как известно, выразил в самой заостренной форме устами Шатова: «Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном, и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинно великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою».

Как странно звучат эти слова! Слово из глубины тысячелетий, из седой ветхозаветной старины доносятся они до нас, и кажется, будто говорит их не русский человек о русском народе, а библейский кудесник о родном ему Израиле. И действительно, для Шатова—До-

стоевского богоизбранный русский народ и есть, в сущности, ныне воскресший Израиль. Стоит лишь вспомнить о словах, сказанных тут же, несколькими строками выше: «Всякий народ до тех пор народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения, пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы, по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного, и оставили миру Бога истинного» («Бесы», ч. II, гл. I, VII). «Еврей без Бога как-то немислим; еврея без Бога и представить нельзя», — говорит Достоевский и прямо от себя в «Дневнике».

Так вот откуда у Достоевского это бьющее в глаза противоречие. От еврейского народа, от величавого памятника его древности, от Библии, думается ему, унаследовал он свою направляющую идею: свой мессианизм, веру в богоизбранность русского народа, религию «русского Бога» (выражение Достоевского в письме к Майкову) — и вдруг откуда ни возьмись словно из-под земли вырастает на его пути тщедушная... уморительно смешная фигура каторжника «Исайки», из последних сил дерзко вопящего: как так унаследовал? По какому праву? А я? Разве я уже и не существую?



вовсе?.. «Но истина одна,— перебивает его вне себя от гнева Достоевский,— а, стало быть, только единый из народов может иметь Бога истинного». Стало быть, можем мы продолжать эту мысль от себя: либо мы, русские, либо вы, евреи; или точнее: истинный Израиль ныне — народ русский. Стоит только русскому народу отказаться от веры, что лишь он один вправе притязать на еврейскую, в Священном Писании евреев увековеченную мессианскую идею, стоит лишь пошатнуться этой вере, и он сразу распадется, распылится, станет всего только «этнографическим материалом». Но и обратно: если историческая истина, будущность и спасение всего рода человеческого поручены Провидением России и русским, тогда все еще странствующие по свету евреи всего лишь историческая пыль — «жиды, жидки, жидишки». В «Преступлении и наказании» в эпизоде сравнительно мало заметном (ч. VI, гл. VI) внимательный читатель найдет и этот, с логической необходимостью навязывающийся Достоевскому вывод.

Когда Свидригайлов принимает свое последнее решение и выходит на грязную петербургскую мостовую, чтобы «при официальном свидетеле» положить конец своей жизни, внимание его приковывается к дежурному у пожарной каланчи «человечку в Ахиллесовой каске»: «Дремлющим взглядом, холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековая брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечатлелась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени молча рассматривали один другого...» Свидригайлов берет за револьвер, между тем как возникший в густом молочном тумане мифический герой без усталости шепелявит: «А-зе, здесь нельзя, здесь не места». Но что за дело Свидригайлову до гнусавого предостережения хилого Ахиллеса: он взводит курок, и раздается выстрел. Если вспомнить, что у Достоевского, особенно в совершеннейшем из его произведений, нет ни одной сцены, ни одного образа, ни одного слова, которые не имели бы более глубокого, иносказательного значения, то это жуткое прощание Свидригайлова с жизнью представляется сперва как бы неразрешимой загадкой, которая, однако, легко разъясняется при первом же сопоставлении «идеи» Свидригайлова с собственным взглядом Достоевского на сущность еврейства. Свидригайлов возмущен до последней глубины идеей вечности или бессмертия как дурной бесконечности, он восстает против вечного шага на месте, против вечного возвращения, и какая встреча могла бы нагляднее воплотить перед ним всю бессмыслицу существования ради голого существования, нежели встреча с от века призрачно существующим евреем, с Вечным Жидом! Подобно ручному «попугаю», он твердит везде и всегда свое жалкое: «здесь не место» — не место умирать, не место восстания против «закона» жизни и его непреложности. Пусть призраки скорбно довольствуются таким отрицательным утверждением жизни — истинно живой предпочитает этому проклятию самосохранения полное самоуничтожение. Лишь тот, кто не влеком своим Богом подобно жертве бессловесной, а сам пролагает Ему и помазанному Им Спасителю путь вперед, имеет обязанность и право жить.

Так «антисемитизм» Достоевского раскрывается перед нами как другая, как оборотная сторона и истинное основание собственного его «иудаизма». Кажущееся противоречие есть на самом деле прямолинейная, железная логика.

V

Однако вопрос наш все еще далеко не исчерпан.

Если бы Достоевский был лишь сухим, одержимым одним только стремлением к последовательности теоретиком, дух его, быть может, и успокоился бы на этом хитроумном построении и его причудливая, чисто ло-

гическая юдофобия была бы не чем иным, как отбрасываемой его «русским Богом» тенью. Но Достоевский остается и в своем отношении к еврейству неизменно верен последним глубинам своего существа, и сердце его, место битвы добра и зла, изборожденное мучительнейшими сомнениями и противоречиями, сохраняется и в этом вопросе последнее слово за собой. Та самая статья о еврейском вопросе, с которой мы уже познакомились как с документом несомненного жидоинства, являет нам ряд моментов, никак не вмещающихся в понятие антисемитизма, больше того, прямо ему противоположных. Прежде всего следует тут отметить то благоговение, с которым Достоевский подходит к так называемому им самим заключенному в кавычки «еврейскому вопросу», чувство, которое в таком напряжении редко встречается даже у самых бурнопламенных еврейских националистов. «О, не думайте,— восклицает Достоевский в самом начале своей статьи,— что я, действительно, затеваю поднять «еврейский вопрос»... Поднять такой величины вопрос, как положение евреев в России, и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев,— я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах». И дальше: «Не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди». «И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произносить своего последнего слова». «Евреи,— почти иступленно восклицает Достоевский в другом месте,— народ беспримерный в мире».

Слышанное ли дело, чтобы «антисемит» говорил таким языком? Потому Достоевский в этой столь изобилующей всякими про и contra статье и протестует так решительно против «тяжелого обвинения», будто он ненавидит «еврея, как народ, как нацию». Это вторая в высшей степени своеобразная черта в личном отношении Достоевского к еврейству. Перед нами юдофобия, как бы стыдящаяся самой себя, вражда к еврейству, враждующая с самой собой, себе же перечащая, сама себя опорочивающая. «Когда и чем заявил я ненависть к еврею, как к народу?» — восклицает Достоевский. «Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те евреи, которые знакомы со мною и были в сношениях со мною, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю раз навсегда, с тем, чтобы уже потом об этом и не упоминать особенно». Это более чем категорическое заявление кажется, однако, Достоевскому все еще недостаточно убедительным; он, очевидно, чувствует, что ему очень трудно, как он сам говорит, «оправдаться», и он снова и снова чуть ли не клянется, что он не «враг евреев». «Нет, против этого я восстану, да и самый факт оспариваю». С такой упорной настойчивостью отрицает Достоевский свое враждебное отношение к еврейству на тех самых страницах, на которых собраны ходячие, нелепейшие клеветы против евреев, и именно «как народа, как нации». Больше того: сейчас же после ссылки на внутреннюю оправданность «всеобщей» ненависти Достоевский выставляет утверждение, что в русском народе нет никакой «предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею... Весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти». Вот тебе и «всеобщая ненависть»! Ведь значит же что-нибудь слово «весь», невольно восклицаешь против Достоевского его же словами (см. выше, II).

Умонастроение, проявляющееся во всех этих почти хаотических заявлениях, раскрывается перед нами уже не чисто теоретическое только, теми или иными средствами логики преодолимое противоречие, но бросает

яркий свет и на ту страшную борьбу, которая раздирала сердце Достоевского, на тот острый внутренний конфликт, который обременял его совесть. Ведь еврейский вопрос представлял для него, как мы видели, не предмет отвлеченного умствования, а один из наиболее жгучих вопросов его личного исповедания, его веры в последний смысл и значение собственного жизненного дела. Так русский провидец Достоевский выступает перед нами в столкновении своем с Израилем как некий двойник и противоположность древнего прорицателя Валаама. Валаам готов был проклясть Израиль и не мог не благословить его; Достоевский, полный восторженного исступления, хотел бы прославить еврейский народ и все же не в силах не проклинать его. Он готов превознести еврейство, как превозносит сын отца своего по духу, и он не может не отречься от него, потому что всецело одержим тем ложно истолкованным мессианизмом, для которого историческая благодать в каждую эпоху покоится лишь на одном-единственном народе. Тем более что, несмотря на свою одержимость, Достоевский непрерывно мучим сомнением: он никогда не уверен вполне и до конца, что еврейский народ действительно лишь призрачная тень былого величия. «Что свой промыслитель с своим идеалом и с своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой, это-то уже ясно. Да и нельзя, повторяю я, даже и представить себе еврея без Бога»... Не значит ли это, другими словами, что и Бога без евреев представить нельзя? Не завела ли его безмерная любовь к русскому народу — так не мог не спрашивать себя сам Достоевский — на ложный путь? Кто порукой в том, что русская земля и русская народность воистину призваны родить в лоне своем Грядущего Спасителя? Ничтожнейший из «дежурящих» евреев казался ему как бы решающим свидетелем противной стороны, стороны, опровергавшей упование Достоевского в собственной его душе...

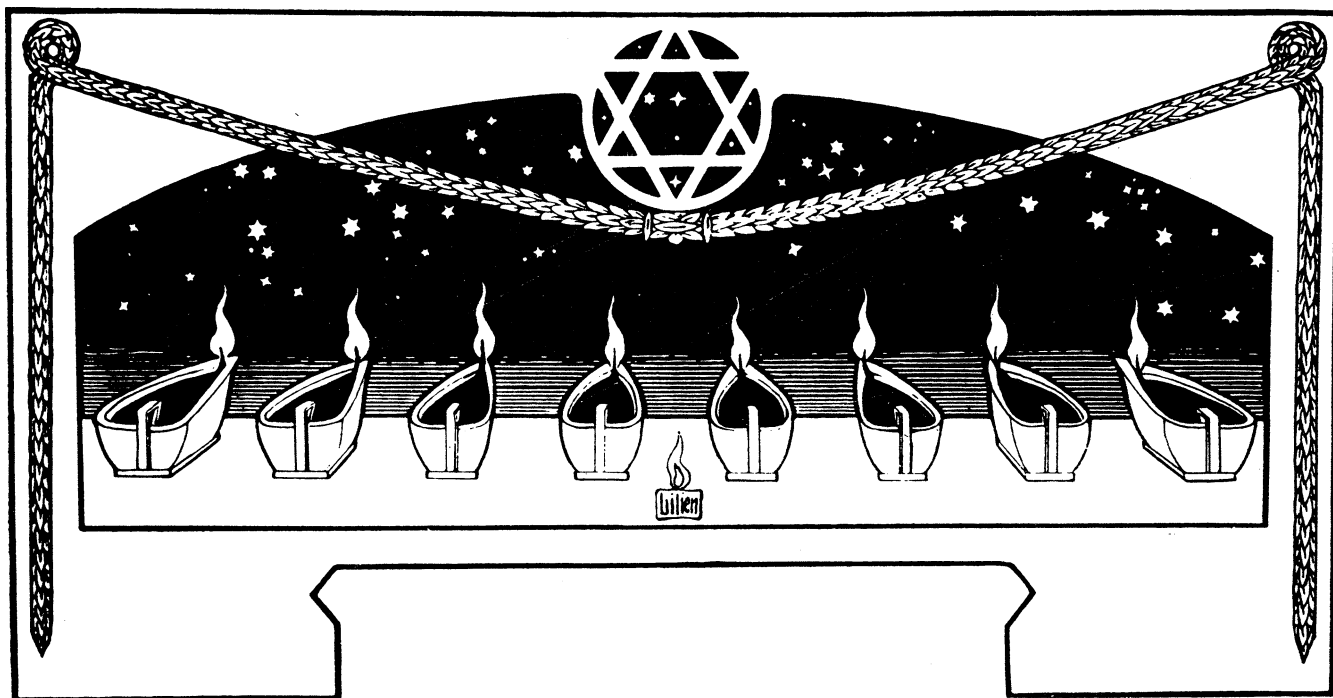
Что же оставалось делать? Судорожно сжимая кулаки, Достоевский самому себе наперекор, со скрежетом зубным все снова возвращался к исходной своей мысли, что еврейский народ как бы и не существует, что вся его жизненная сила и энергия — сплошная видимость, всего лишь потуги на бытие, что вся религиозная проникновенность евреев, все их моления и чаяния, их скорь и восторги — лишь жалкий маскарад, лишь механические, бездушные телодвижения.

Да и говорят-то евреи, как писал под самый конец своей жизни Достоевский жене, «не как люди, а по целым страницам, точно книгу читают...». «Целые томы разговоров...» (письма из Эмса от 28 и 30 июня 1879 г.).

Чтобы хоть отдаленно почувствовать всю горечь терзавших Достоевского сомнений, не надо ни на минуту забывать, что из постулатов его веры для него следовали самые смелые практические выводы. Пламенное воодушевление, с которым отстаивал Достоевский целые десятилетия права России на Константинополь, питалось в последнем счете, как легко в этом убедиться при более внимательном чтении всего написанного им по восточному вопросу, непоколебимой уверенностью, что вместе с Царьградом России достанутся ключи к Святой Земле, к Палестине. Палестина же должна была, по мысли Достоевского, потому во что бы то ни стало сделаться нераздельной частью России, что там, где совершилось Первое Пришествие, должно свершиться и Второе, и, значит, если верно, что оно должно свершиться в России, то Палестина не только будет, но уже и сейчас как бы Русская земля. Покуда существует, однако, народ израильский, покуда не вычеркнут он из списка живых, Святая Земля по-прежнему остается обетованной землей семени Израилева, и право России, как и все ее всемирно-историческое призвание, снова под вопросом.

Так на всех своих путях Достоевский сталкивается с евреями и еврейством: в мире диалектической мысли, во вздыбленной верою и сомнением душе своей, но также и в сфере злободневных политических вопросов. Впрочем, все эти измерения его духовного горизонта всегда пересекались для него в одной-единственной точке, в том последнем источнике его неиссякаемой творческой энергии, для которого он знал одно лишь священное имя: Россия. Поистине библейский по величию образ. Образ, невольно напоминающий древнейших еврейских провидцев, еще не удостоившихся вознестись на ту высшую вершину пророчества, с которой преемникам их и продолжателям скоро раскрылась во всей своей безмерности всеобъемлющая и всепримиряющая всечеловечность.

Публикация и вступительная заметка
доктора исторических наук Сергея БЕЛОВА.





ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

12 И 13 МАРТА 1907 ГОДА

Н. Долгополов. С тяжелым чувством я вступил впервые на эту кафедру. Кровь, проливающаяся на родине, не может не взывать к тому святому чувству негодования, святому чувству мольбы прекратить ее, эту кровь, текущую так бесцельно, так жестоко, без

всякого созидательного начала. Нам, высочайшему собранию русского великого народа, здесь было прочитано в декларации о желании ввести Русь в семью правовых государств: «Путем установления правовых норм отечество наше должно превратиться в правовое государство».

Я радовался бы этому желанию, приветствовал бы это желание от всей души, хотел бы на старости лет

О к о н ч а н и е. Начало см. «Странник» № 1 с. г.

следы минувшего

дожить до более счастливого момента, когда такие желания будут не только словами, но будут делом, будут воплощены в реальные формы. Русский народ должен быть свободным, он должен гордо смотреть на человечество. Он заслужил эту свободу; он выстрадал ее; он много жертв принес на алтарь свободы... Молох государства создал целые гекатомбы мучеников... Военно-полевые суды создали такую атмосферу, которая давит нас. А между тем с правой стороны нам говорят: «Мало крови и мало тысячи жертв... надо их еще, чтобы прекратить существующий у нас якобы хаос...» (*Бурные аплодисменты левой и центра.*) Нет, господа, будьте откровенны, посмотрите на эти пустые кресла министров, которые должны были бы быть здесь, чтобы запомнить вопль исстрадавшегося сердца представителей народа (*бурные аплодисменты центра и левой*), они должны слушать и страдать, потому что они не умерли еще: только мертвые стыда не имут. (*Аплодисменты.*) Г. премьер-министр гордо заявил здесь, что правительство желало бы найти ту почву, на которой была бы возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы всем понятен. Я приветствую такое желание, я прошу их говорить тем языком, который все понимают, прекратить язык виселиц, язык карательных экспедиций... (*Бурные аплодисменты левой и центра.*) Тысяча казней в междудумское время — через эту вереницу виселиц привело правительство народных представителей в думу. Не нужно больше новых виселиц, народ достаточно выстрадал от ужасов беззакония. Я как депутат заявляю, что вся моя жизнь разбита, истрепана в тюрьмах, в ссылках за то, что я мирный гуманный врач — больше нет за мной преступлений. (*Аплодисменты.*) Я не желаю больше утруждать вашего внимания своей речью. Я заявляю, что мир и спокойствие — драгоценное желание всех нас, не исключая даже и этих... (*показывает на правые скамьи*), желающих пить народную кровь. (*Бурные аплодисменты центра и левой.*) Они говорят, что не хотели бы военно-полевых судов, если бы не было каких-то приговоров из подполья. Подпольные приговоры есть неизбежное проклятье, которого никто в спокойное время не захотел бы взять в свои руки. Проклятье это берется потому, что нельзя ведь безнаказанно издеваться над духом свободы русского народа; нельзя ведь бесконечно глумиться над страданиями народа; должен же быть предел, господа!.. (*Шум, председатель звонит, справа доносятся голоса: «Здесь нет желающих пить народную кровь».*)

Председатель. Г-н оратор, позвольте вам сказать, что вы говорили о лицах, которые желают пить кровь. Таких лиц здесь не было и нет.

Долгополов. Итак, залог счастья, свободы и гордо-го, широкого полета русского гения — в руках ваших. Правительство само пригласило вас, чтобы выбраться из того хаоса бесправия, из того ужасного кровавого тумана, когда на горизонте святой Руси мы видим только виселицы, бомбы... Идите спокойно на ту работу, на какую послал вас народ. Заставьте усюкнуться всех на Руси. Отсюда, с этой кафедры, нам говорят: «Мало пережитых ужасов». Нет! Россия станет культурной страной тогда, когда кошмар крови, безумные желания остановить развитие свободного духа, волю великого русского народа виселицами — отойдут в вечность.

Алексинский. На мой взгляд, всех принципиальнее и правильнее поставил вопрос г. Шульгин, заявивший, что военно-полевые суды служат для власти орудием борьбы. Кто с кем и чем борется? Борется власть против народа, нарушающего порядок. Товарищ и сосед по месту г. Шульгина, г. Пуришкевич, говорит, что, в сущности, то же самое средство и орудие борьбы применяют и левые, и он прочитал вам постановление стокгольмского съезда партии социалистов-революционеров о том, что необходимо усилить террор и вести усиленную террористическую борьбу с агентами правительства. Я с.-д., представитель партии, которая террор как систему тактики не одобряет, но эта партия находит, что применение террора борцами за народ носит совсем не тот характер и не заключает в себе и доли той гнусности, которую заключают в себе распра-

вы правительства с народом при помощи военно-полевых судов. Когда министр или главнокомандующий подписывает приговор военно-полевого суда, он, конечно, не идет сам вешать, он сам не связывает руками в белых перчатках петли на шее приговоренного к смерти. Для этого призывают офицера с солдатами, прокурора, священника и говорят: занимайтесь вы этим грязным делом. Вчера священники и офицеры выступили перед вами и в один голос говорили, что быть исполнителем этого дела — это проклятие, величайшее проклятие, которое может выпасть на долю человека. Между тем всякий знает, что когда террористический комитет постановляет свой приговор, его члены не уклоняются от приведения в исполнение приговора. Они не нанимают от себя и не посылают туда зависящих от них материальных подчиненных, а сами жертвуют своей жизнью. Сравните эти два действия: действие человека в белых перчатках, подписавшего приговор, и человека, приведенного в исполнение собственный приговор и отдавшего за то свою жизнь. (*Шум с правой.*)

Председатель. Ваши слова могут быть поняты не совсем правильно. Можно понять, что вы сами оправдываете террористические действия. Я лично так не понял ваших слов, я думаю, что вы их тоже не поняли в указанном смысле. (*В зале движение.*)

Алексинский. По поводу разъяснения г. председателя я должен сказать, что вошел сюда не оправдывать и не судить, я высказываю свой взгляд и взгляд своей партии на этот факт, чтобы те, кто послал нас, знали, как мы на это смотрим.

Когда вчера упрекали партию с.-р., что она действует террором, я решил напомнить один факт. Когда собралась первая дума, партия с.-р. — это было напечатано во всех газетах — прекратила на время террор. Они думали, что есть возможность обойтись без него. Они действительно думали, что можно парламентским путем добиться чего-нибудь для измученного народа. Когда думу разогнали, с.-р. снова вступили на этот путь. Кто же толкнул их на путь террора? Безумное желание проливать кровь или безумные действия правительства, разогнавшего думу и введшего военно-полевые суды? Террор снизу, борьба народа, является всегда и везде неизбежным ответом на террор сверху. И если нам говорят, что военно-полевые суды есть законное орудие борьбы правительства с народом, то и народ может сказать, что у него есть соответственное орудие для борьбы с правительством. В той плоскости, на какую ставят вопрос представители правых, может быть дан только один ответ.

Когда народ требует свободы, крестьяне — земли, пролетариат — возможности бороться для облегчения условий жизни, к ним применяют такое средство борьбы, как военно-полевые суды. Все прежние законы, все прежние формы государственности оказываются для бюрократов-помещиков недостаточными. Охраняя свои привилегии они могут лишь посредством виселиц. Я вас спрошу, что это за форма государственности, которая может найти наивысшее свое выражение и лучшую защиту в виселицах. Это есть государство виселицы, государство нагаек, государство убийств. (*Аплодисменты слева.*) Представители правых охотно обращались к примерам Запада и говорили об Англии, об Австрии. Я все ждал, что они назовут Турцию, где сажают на кол. (*Смех.*) Посмотрите, говорили они, везде есть смертная казнь, почему же нам не иметь? Почему правые ссылаются на плохие примеры Запада и охотно говорят о подлостях, которые сохранились от прошлого? Если бы мы указали им, что в Англии существует неприкосновенность личности, что во Франции существует демократия, они сказали бы, что это не подходит к русскому духу. Скажите им, что в Турции существует осинный кол, они ответят: о! скорее давайте нам эти образцы Запада. (*Рукоплекания слева.*) Мы, с.-д., желаем брать с Запада только лучшее.

Смотрите, как относится народ к палачам. Нет имени более проклятого для народа, как палач, нет названия более презренного. А вы, правые, восхваляете тот порядок, при котором любой офицер, солдат, священник, прокурор может быть привлечен непосредственно к участию в палачестве. (*Рукоплекания слева.*)

Не так давно мне пришлось сидеть в тюрьме. (Смех.) Там уголовные преступники, т. е. отбросы общества, с омерзением говорили о том, что в одной тюрьме нашлись негодяй, который за большие деньги согласился привести в исполнение приговор военно-полевого суда. Они, отбросы общества, осудили палача. А вы восхваляете его и говорите, что это лишь «небольшое отклонение от правильных форм судопроизводства». (Рукоплескания в центре и слева.)

Мы все знаем, до какой дикости доходит произвол военно-полевой юстиции. У меня целый ряд документов, в которых рассказывается, к чему привела эта справедливость. Мой товарищ по партии депутат Озол сообщил мне целый ряд фактов из жизни Прибалтийского края. Есть, например, такой. Келле и Янсон были оправданы военно-полевым судом 3 января и все-таки расстреляны 7 марта. Сознание подсудимых в Риге и Митаве вырывается путем пыток. В Лифляндии были расстреляны по подозрению, по простому подозрению. За кражу 3 руб. в Курляндской губернии был расстрелян крестьянин Лейланд. Вы знаете, о чем молится население Прибалтийского края? О том, чтобы хоть приговоры военно-полевых судов приводились в исполнение, потому что там бывает так, что человек, приговоренный военно-полевым судом к бессрочной каторге, после суда расстреливался, несмотря на этот приговор. У меня есть телеграммы из Закавказья, полученные моим товарищем по партии, Церетели. Эти телеграммы полны ужасов. За убийство околоточного в Кутаисе город был объявлен на осадном положении, население в панике, просят защиты. Телеграммы из Потанеби и других мест сообщают, насколько терроризировано население. Недавно в Красноярске по подозрению был обвинен один человек. Но справедливости оказалось недостаточно захватить его одного, и она привлекла к ответственности двух рабочих только за то, что у них накануне ночевал преступник. Был захвачен и парикмахер, который будто бы сделал обвиняемому фальшивую бороду. Вот к чему сводится (обращаясь к правой) ваше небольшое уклонение от обычно действующего законодательства, ваше небольшое уклонение от обычной казенной справедливости.

Рассуждения правых о государственности есть не что иное, как открытое желание эксплуатировать народ в пользу бюрократов, помещиков, которые это государство захватили в свои цепкие руки. Вот почему все аргументы с точки зрения государственности должны быть отброшены. Дума должна ставить вопрос только так: может ли она, если она хочет защитить интересы народа, оставить в руках правительства право вешать и расстреливать всех, кого угодно. Если мы захотим пойти с народом, то скажем: «нет». Дума должна вырвать у правительства это орудие истребления. Она должна сказать свое властное слово. Я знаю, что правительство охотно откажет думе. Если оно это сделает, это будет невыгодно для народа, но это будет еще более невыгодно для правительства, потому что народ поймет, почему эти господа так держатся за виселицу. У них нет никакого другого средства, чтобы сохранять свою государственную власть. Дума должна независимо от результатов ее решения принять решение об отмене военно-полевых судов. Тот или иной результат — это безразлично. Отменяет военно-полевые суды — мы будем радоваться, нет — тогда народ будет знать, почему их не отменили. Он поймет, что нынешний порядок есть порядок захвата власти кучкой помещиков, власти над миллионами людей. (Аплодисменты слева.)

Синадино. Юридическая сторона вопроса о военно-полевых судах выяснена всецело и в достаточной мере: ее весьма убедительно доказал и разъяснил такой знаток своего дела, как депутат Маклаков, перед которым я преклоняюсь. Но я вам скажу, по совести скажу, что те господа, которые говорят с юридической точки зрения по этому вопросу, ломятся в открытые двери: они говорят то, что ясно для всех, что не требует доказательства.

И если бы пришлось судить о военно-полевых судах с точки зрения юридической, если говорить о них конкретно, забывая ту обстановку, в которой им пришлось действовать, и забывая ту причину, которая их

создала, то, конечно, можно только расписаться под всем тем, что было здесь сказано.

Но мне хотелось бы рассмотреть этот вопрос и с точки зрения, о которой как-то с особой скромностью здесь умалчивают. А для этого мы должны обратиться к тому, что представляла Россия в конце 1905 и в начале 1906 г.

17 октября 1905 г. с высоты престола были объявлены свободы, и тут была допущена жестокая ошибка, ошибку, которую и поныне искупает Россия: свободы были объявлены, а законы о свободах не были объявлены. И получился величайший сумбур, последствия которого мы теперь переживаем. Улица позволила себе судить об этих свободах так, как будто бы они давали возможность ходить разгульной толпой по улицам, другая часть толпы поняла свободу так, что можно бить и убивать людей, ходящих с красными знаменами; что касается крестьянства, то, к сожалению, я должен сказать, что часть его, забыв Бога, поняла свободу так, что можно грабить, убивать и сжигать. В конце 1905 г. и в начале 1906 г. мы пережили Кронштадт и Свеаборг, мы пережили уничтожение и разрушение нашего лучшего уголка — Прибалтийских провинций. Тот, кто видел Москву, ее разрушенные улицы, тот не узнал бы столицы всея Руси. Я с вами согласен: все эти благоустроенные поля и т. п. — это не достояние государства; путь истории неумолим — благоустроенные поля перейдут в руки самих крестьян; в конце концов земля переходит к тому, кто ее обрабатывает собственным трудом.

С этой трибуны некоторые лица, пользующиеся уважением, говорили, несмотря на все это, что наступят иллюминации и пожары, от которых содрогнется Россия. Этот человек оказался вещим пророком. Он ударил в набат, и пожар... (Шум прерывает оратора.)

Председатель. Никакого призыва к пожару сделано не было.

Синадино (продолжает). Что оставалось делать, по-вашему, правительству? Где искать исхода? И вот правительство решилось выбрать из двух зол меньшее, чтобы дать возможность нам здесь заседать. Если за эти шесть месяцев оказалось действительно ужасное количество трупов, то я спрашиваю: были ли у нас гарантии, что их в противном случае было бы меньше?

Принимайте формулу, какую хотите, — не знаю, как другие, а я лично не буду противоречить ей, — но прибавьте то, что вы осуждаете всякое убийство. Если собрание окажется на высоте своего призвания и мужественно решится сказать: прочь в корне эту революцию, мы желаем эволюции, мы сами представляем из себя нечто, что может править, — тогда потомство вам будет благодарно.

Если же вы этого не сделаете, не примете во внимание мольбу тех людей, которых почему-то называете кровопийцами, то у меня по крайней мере — я не кровопийца — хватит столько гражданского мужества, и я категорически скажу: вы этой революцией питаетесь, это ваш корень, без которого вы ничего не значите! (Аплодисменты на скамьях крайней правой.)

Шингарев. Сейчас в речах правых я вновь услышал раздававшийся и вчера призыв добавить несколько слов, осуждающих убийства. От нас требуют невозможного для Гос. думы положения. Мы призваны осуждать действия правительства, осуждать действия власти исполнительной, призваны составлять законы, улучшающие положение страны, но мы не призваны писать резолюции, не призваны сюда говорить ничего не стоящие жалкие слова. Предлагаемый правыми фракциями путь для Гос. думы совершенно неподходящий.

Предложение, которое внесено теперь партией народной свободы, есть первое стремление к превращению государства в правовое. Если только здесь (обращается снова к министерским скамьям) были сказаны не пустые слова, если за этими словами таится искреннее намерение перейти к делу, то я уверен, что министерство не будет выжидать предоставляемого ему 56 ст. пол. о Гос. думе месячного срока. Если министерство действительно желает органической работы, если оно действительно хочет идти путем законодательных норм и превратить наше государство в правовое, то оно

должно неизбежно устранить первый порог, первое препятствие к переходу в государство правовое и прекратить бессудные убийства. (*Аплодисменты левой.*) Даже правые, к моему великому удовольствию, констатировали это.

Во имя права, во имя государственной целесообразности правительство не должно приводить государство к банкротству, должно отказать от месячного срока, ибо он ему не нужен, раз оно искренно желает работать, и если правительство действительно твердая власть, то оно сумеет отказаться от своей ошибки, и только тогда его не осудит история. (*Аплодисменты центра.*)

Трейман (*Лифл. губ.*). Хотя ужасы полевых судов испытывает почти вся Россия, но мне кажется, что нет другого народа, который так много бы страдал от них, как мы, как моя несчастная родина — прибалтийский край. Цена человеческой жизни у нас — ломаный грош. Никто из нас не может поручиться, что сегодня или завтра он не попадет в руки палачей. Достаточно заявления первого попавшегося доносчика, достаточно мановения руки барона или его прислужника, и вас не станет. После того как 19 августа 1906 года военному положению края дана была в помощники военно-полевой юстиции, латышское население окончательно убедилось, что оно поставлено в положение чужеземного народа, отданного в руки завоевателя в лице генерала Орлова. Но для наших усмирителей даже и эта юстиция оказалась недостаточной; им нужен был неограниченный размах; вот примеры.

Военно-полевой суд приговорил двух латышей к каторге; но наши помпадурсы не нашли этого наказания достаточно тяжким: дела были переданы на другое рассмотрение, и этим несчастным был вынесен смертный приговор. В местных газетах часто встречается выражение: пытался бежать и был расстрелян. Но все мы хорошо знаем, какая трагедия скрывается за этими словами. Мы знаем, что не найдется безумца, который решился бы на бегство, зная, какое это безнадежное дело. Перед нами фраза общепонятная: узник был расстрелян по вдохновению того или другого карателя. Таких возмутительнейших злоупотреблений не знает ни одна другая страна. Людей расстреливают, как зайцев, и, по-видимому, каратели все более и более входят во вкус. Таким образом, не все пленники удостоиваются даже военно-полевого суда, и иногда приходится вздыхать и по военно-полевой юстиции. Это уже апофеоз современного режима, дальше идти уже некуда. И вот в таком положении живет наш край полтора года. Отмена военно-полевых судов и всех других исключительных мер и положений является первойшей необходимостью. Чаша с краями полна. (*Аплодисменты левых.*)

Прот. Владимирский. Я особенно обратил внимание на слова одного из ораторов, носителя истинного христианства, почтеннейшего депутата Булгакова, который сказал, что правительство, которое признало себя христианским, обязано управлять страной по-христиански. Против этого, конечно, возражать невозможно и дополнять тут нечего. Понимаю тоже и затруднения правительства. В самом деле, наша гражданственность так расшатана, мы так далеко ушли в своеволии. Но и правительство, с другой стороны, дошло до таких противных христианству крутых мер. Тут получается заколдованный круг. Правительство объявляет, что оно тогда введет обещанные гражданские свободы, когда граждане притихнут. Между тем волнуясь, восставшие говорят: «Мы только тогда притихнем, когда вы нам исполните обещанное!» И как с той, так и с другой стороны мы до сих пор не видим решительного шага к примирению.

Кому же первому сложить оружие? За кем очередь выступить на путь примирения? Я полагаю, что этот вопрос можно решить очень просто: все вы люди семейные, сами были детьми, помните себя в детстве и сами имеете детей. Когда два брата поссорятся и подерутся, кого из них прежде всего вы будете останавливать? Ведь, конечно, того, кто постарше, поумнее. Вы скажете ему: «Ты постарше и поумнее, так уступи» — и мир водворится. Кто же здесь должен сделать первый шаг к примирению? Конечно, правительство. Оно уже гово-

рило, что обладает опытом, значит — за ним первым и очередь. Вот как, мне кажется, можем мы выйти из того заколдованного положения, из тех ужасов, которые мы переживаем вот уже скоро три года. Нужна милость, а не жертвы. Я позволю себе высказать мое собственное, быть может, не вполне правильное мнение, хотя я много пожил и видел на своем веку.

Мне чудится, что в военно-полевых судах есть что-то такое, что возвращает нас к крепостничеству. Желательно было бы, чтобы оно было забыто, и забыто навсегда. Наша детвора начинает забавляться игрой в погромщики. Сохранится ли при таких условиях наше славянское добродушие, которое веками, тысячелетиями окрепло в нашем народе. Благородная душа русского человека, славянина, не может высказать жестокого своего осуждения даже преступнику, и что же теперь? Очень возможно, что мы загасим эту искру, или, лучше сказать, этот огонь можно обратить в искру, можно и совсем потушить. Вот что мне жалко.

Еще я вижу в этих кровавых событиях, о которых идет речь, один недочет. Вы знаете и помните, как русские всегда были отзывчивы, как они беззаветно шли в бой за угнетенных греков; шли они также с полною горячностью на защиту сербов и болгар. Этот неподражаемый, можно сказать, русский героизм бескорыстен. Но благодаря обстоятельствам и условиям нашей жизни в последнее время мы рискуем потерять этот величайший в мире героизм русского народа.

Поэтому я счел своим долгом высказать мои личные тревоги. Дай Бог, чтобы они не оправдались. Но мне успокоиться трудно; и я жажду того дня, когда увижу свет гражданской свободы нашего русского народа. Так как я принадлежу к партии... нет, не к партии, я скажу, я принадлежу к русскому народу старого строя, т. е. к тому народу русскому, который отличается на весь мир своим благодушием, своим геройством. Я к этому именно русскому народу и принадлежу и желаю всему этому почтеннейшему собранию принадлежать к нему, не принимая, конечно, нового типа русского народа, почему-то с прибавкой «истинного». Поверьте, что я в глазах своих всегда имел этот изящный художественный образ русского человека — и вдруг пришел невежественный маляр и мазнул его! (*Оратор сходит с трибуны при бурных аплодисментах центра и левой.*)

Архангельский. Гг. депутаты, члены думы фракции с.-р. выступают здесь в качестве противников военно-полевых судов, смертной казни и вообще всякого кровопролития. Для нас, представителей группы с.-р., нет ничего ценнее человеческой жизни, для нас нет выше, идеальнее человеческого братства, основанного на труде.

Но вот с этих скамей (*показывает на правых*) раздаются голоса о том, что мы не имеем никакого права выступать с такими заявлениями. Эти лица, бессознательно относящиеся к словам, произносимым с трибуны, бросают нам упрек, называя нас убийцами. Они никак не могут примириться с мыслью, что мы называем себя открыто с.-р. Они не могут переварить мысли, что люди, являющиеся самими ненавидимыми, самыми преследуемыми, самими гонимыми со стороны правительства, сидят на этих думских скамьях. Они желали бы нас посадить на скамьи подсудимых. Но мы народные избранники, и не гг. Пуришкевичам отнимать у нас это право! Да, наш народ избрал нас и приберег титул убийц не для нас.

Нам говорят, что сначала мы должны осудить террор, а потом идти к подножию трона просить и ходатайствовать об отмене смертных приговоров и военно-полевых судов. Здесь не может быть и мысли о том, чтобы мы обращались с какими-либо просьбами, мы не нищие, мы народные избранники! Мы призваны здесь осуществить народную волю и осуществить первую попытку законодательства. (*Аплодисменты левой.*) Те лица, которые указали, что военно-полевые суды вызваны революционерами, представляют себе революционеры в совершенно ложном свете. Революционеры — представители народного гнева и народного негодования. Можно убить революционера, но нельзя убить революционно настроенного народа. Вы сеете ветер, пожнете бурю! Нам говорят: остановите террор, и оста-

новлены будут тогда смертные казни. Здесь товарищ социал-демократ высказал, что комитет партии социалистов-революционеров во время думской деятельности прошлого года постановил прекратить свою революционную деятельность, но он не подчеркнул одного: военная юстиция правительства и тогда не прекратилась. В то время, когда дума выносила здесь приговоры против смертной казни,— не было ли смертной казни в России?! Мы все помним пресловутое появление на думской трибуне генерала Павлова. Мы все помним, как единодушно его встречали криками: «Убийца, палач»; мы помним, как по всей стране разносились эти крики. Вследствие того, что генералу Павлову были предоставлены полномочия...

(Шум, крики правой: «Но ведь он убит».)

Архангельский *(продолжает)*. Но кто виноват в его смерти? *(Крики правой: «Вы, вы».)* Те лица, которые принесли ему в руки сотни человеческих жертв, или тот порядок вещей, который дает возможность одному человеку бесконтрольно распоряжаться сотнями людей, тот порядок, при котором возможно всякое насилие, всякое издевательство, при котором нет конца человеческим страданиям? Господа депутаты! Есть ли человек, у которого сердце не болело бы от совершающихся ужасов? Есть ли человек, у которого душу холодом не охватывало бы от предсмертных криков вешаемых и казнимых? Есть ли такой человек среди нас, который не тосковал бы о гибнувших? Господа народные депутаты! Мы пришли сюда с целью думской парламентской работы, и нам говорят, что войну будут вести дальше... Когда я смотрю на нашу несчастную родину, я вижу разорванные человеческие тела, я вижу целый ряд виселиц, целый лес, мачты виселиц. А нам продолжают говорить, что такой порядок должен продолжаться до тех пор, пока революционеры не будут уничтожены. Мы знаем, что чем дальше идет время, тем яснее выступает тактика правительства. Со времени Софии Перовской вот уже 25 лет как руки палачей не осмеливались коснуться тела женщины, но прошло четверть века, и женщина вешается и расстреливается. Над Марией Спиридоновой производятся такие ужасы, от которых содрогается весь цивилизованный мир. Мы, с.-р., пришли сказать, что страшно тоскуем по мирной работе. *(Аплодисменты правой.)* Мы с трепетом ждем наступления момента, когда нам будет предоставлена возможность мирной культурной работы. Но мы также знаем, что до тех пор, пока будут продолжаться военно-полевые суды, создать благоприятные условия для такой работы трудно. Несколько десятков лет тому назад выступали одинокие борцы за народное счастье, за народную свободу; они держали в руках факелы, от которых сыпались искры; искры эти исчезали во тьме, но не погибали, а падали на почву, на которой был горючий материал. Этот материал — народ, вынесший на своих плечах всю тяжесть издевательства полиции и всякого рода насилия. Искры падали на почву народную, и громадный пожар охватил родину. Весь народ является с запросами новой, счастливой жизни, весь народ не мирится с теми рабскими условиями, в которые он поставлен; весь народ требует счастья, свободы и осуществлений человеческих прав. Нам говорят: «Пока этот народ не придет в спокойствие, до тех пор невозможно уничтожение военно-полевых судов и казней». Но мы пришли с желанием мирной и культурной работы на парламентские скамьи! А малейший луч просвета, заставляющий думать о наступлении лучших условий работы, заставляет всех нас устремиться на эту мирную культурную работу. Нам предлагают говорить, что война должна продолжаться до конца, до тех пор, пока народ, проснувшийся от вековой спячки, не будет приведен в прежнее его положение. 26 лет тому назад исполнительный комитет партии народной воли обратился к императору Александру III с письмом. В письме комитет обещал прекратить террористические действия при условии исполнения правительством следующих...

Председатель (прерывая). Позвольте сделать поправку. Прошу не касаться документов, официально неизвестных.

Архангельский *(продолжает)*. Я принимаю замечание председателя и высказываю вот что: до тех пор,

пока не будут осуществлены народные требования, касающиеся амнистии, до тех пор, пока не будут выполнены народные требования, касающиеся свободного развития строя русской жизни, до тех пор, пока не будет дана возможность народу собрать правильную полноправную думу *(крики протеста справа)*, до тех пор война будет вызываться самим ходом вещей и до тех пор народ, революционно настроенный, стихийно будет продолжать прибегать к старым приемам своей борьбы. *(Крики справа: «Позор, позор».)* Нет, это позор для того строя, при котором нет возможности мирной работы. Всем нам надо создать иные условия, при которых не было бы такого позора. *(Аплодисменты левой.)*

Кузьмин-Караваев. Вчера в своей речи я, между прочим, сказал, что военно-полевых судов нигде не существует. Граф Бобринский на это ответил мне, что если я это сказал, то сказал только вследствие своего невежества. Конечно, это не парламентское выражение? Но ведь это не важно: невежда я или знающий человек, кому до этого какое дело. Но в словах графа Бобринского чувствуется другое. Чувствовалось указание на то, что я, назвавший себя в другой части своей речи специалистом, заведомо думе представил неверные сведения, что я позволил себе намеренно ввести в заблуждение думу, и это подтвердил далее граф Бобринский, когда он, ссылаясь на австрийское законодательство, говорил, что все сказанное мною — неправда. Итак, мне брошен упрек в том, что я авторитетом специалиста силился покрыть заведомую неправду. Авторитету специалиста был выставлен в противовес бесстрастный авторитет закона.

Граф Бобринский держал перед нами тот самый источник, который находится сейчас у меня в руках: это издание государственной канцелярии — материалы о смертной казни, собранные из иностранных законодательств по поводу внесения в прошлом году в Государственный совет законопроекта о смертной казни. Граф Бобринский прочитал некоторые параграфы отсюда. У вас, наверное, осталось в памяти общее впечатление о том палаче, о современной доставке которого заботится закон, параграф о том, что смертная казнь обязательно должна последовать через 2 часа после приговора, причем только в исключительных случаях может быть прибавлен еще один, третий час. Граф Бобринский, читая вам относящиеся сюда параграфы, прочел слово «штандрект». Я умышленно перелистал всю тетрадь и слова «штандрект» не нашел. Граф Бобринский, несомненно, оговорился. *(Смех. Аплодисменты слева.)* Но граф Бобринский, несомненно, не оговорился, когда читал параграф 425, что суд осадного положения состоит из четырех судей. Он прочел все, кроме того, что это — суд первой инстанции, как суд военного положения. По уставу австрийского уголовного судопроизводства есть суд осадного положения, ничего общего не имеющий с нашими военно-полевыми судами.

После вчерашних прений все вы, господа, стали специалистами в этих вопросах. Всем нам ясны признаки военно-полевых судов. Это суды военные, они состоят из офицеров, это суды, которые учреждаются по усмотрению административных властей, причем усмотрению этих властей предоставляется предавать тому или другому суду. Это суды, в которых обязательно отсутствует юридический элемент во всех стадиях процесса. Это суды, где отсутствует не только защитник, но где нет и прокурора и где дела рассматриваются при закрытых дверях. А что такое суд осадного положения в Австрии? Я ссылаюсь на тот самый источник, который цитировался вчера перед вами графом Бобринским. Это есть суд, предание которому предоставляется усмотрению прокурора, т. е. органа юстиции. §437 говорит: «Прокурор суда первой инстанции или особо для сего назначенное лицо прокурорского надзора решает, должно ли быть против обвиняемого возбуждено производство по осадному положению». Далее, прокурор принимает участие в процессе. По окончании судебного следствия прокурор предъявляет обвинения. Мало того, §440 говорит: «Дела ведутся в этом суде словесно и при открытых дверях. Обвиняемый имеет право выбрать себе защитника. Если он не воспользуется этим правом,



то суд сам назначает ему защитника». И вы скажете, что я был не прав, что я вводил в заблуждение думу, говоря, что напрасно ссылаются на австрийский «шпандрехт»? Но ведь там нет ничего схожего с нашими военными судами! Брошенное слово уже полетело. В той газете, на которую уже много раз ссылались представители правой, сегодня указано: «Г-н Кузьмин-Караваев говорил неправду, как это доказал ему граф Бобринский». Я не позволю себе отвечать графу его же словами. Я уважаю всех членов думы. Я уважаю всех своих противников.

Я убежден, что каждый, кто выступает на эту кафедру, говорит по совести и говорит искренно. Слова графа Бобринского я отношу исключительно на счет того, что он бегло ознакомился с источником, на который ссылался. Я не буду упрекать его. Я скажу лишь, что я не желал бы сидеть на его месте и чувствовать то, что он чувствует. (*Аплодисменты центра и слева.*) Политические приемы, только что пред вами приведенные, не изменили того общего впечатления, которое на меня произвели прения и вчера, и сегодня. Я вчера говорил вначале, еще не выслушав представителей правой стороны, что не могу себе представить, как можно защищать военно-полевые суды. Теперь, когда мы выслушали многих ораторов правых, я вижу, что действительно военно-полевые суды защищать нельзя. Если бы никто из нас, требовавших отмены военно-полевых судов, не восходил на эту кафедру, если бы с этой кафедры говорили сторонники этого учреждения, то и тогда смертный приговор военно-полевым судам был бы безусловно подписан. Вспомните аргументы в пользу этих судов. Они лучше всего говорят против этих судов. Здесь говорили справа: «Военно-полевые суды — да ведь это призраки суда». Господа! Государством созданы, в государстве существуют призраки суда, и эти призраки защищают.

Нас умоляли с этой кафедры осудить террористические акты. С этим предложением обращались к партии народной свободы. Я не имею чести принадлежать к этой партии. Я принадлежу к той небольшой партии, которая имеет в думе всего лишь двух представителей... Если нужно, чтобы я исповедался в своей вере, то я скажу, что я решительным образом осуждаю убийства с левой стороны. Я осуждаю террор. В моих жилах так же леденеет кровь, как и у епископа Евлогия, каждый раз, когда я слышу о проявлениях новых ужасов, новых бомбах и расстрелах. (*Аплодисменты справа.*) Но эта кровь стынет точно так же, когда приходится слышать о погромах (*аплодисменты на всех скамьях*), об убийстве Герценштейна. (*Аплодисменты на всех скамьях.* *Оратор, обращаясь в сторону правых.*) Почему вы аплодируете мне, почему вы не аплодировали тому социалисту-революционеру, который еще сегодня говорил, что он тоже отрицательно относится к убийству? (*Аплодисменты в центре и слева.*)

Первую думу упрекали в том, что она не осудила политических убийств. Господа, когда я в прошлом году выступил впервые на этой кафедре, отстаивая необходимость уничтожения смертной казни, я осудил политические убийства, и эти слова вызвали в зале аплодисменты. Теперь вы требуете невозможного. Вы требуете, чтоб мы, рассматривая законопроект об отмене военно-полевых судов, в то же время осудили и политические убийства. Но ведь тогда, господа, мы этим самым поставили бы правительство на одну доску с преступниками-террористами.

Господа, факты вырывают почву из-под наших ног. Страна катится по наклонной плоскости. Вы думаете остановить разрушение карами. Не забудьте, что люди управляются своими мыслями. Вы можете механически вырвать человека, но нельзя механически вырвать идею. Чем резче будете вырывать людей, тем противодействие будет сильней. Военно-полевые суды возникли по несчастной мысли. Говорят, история выскажет об этих судах. Нет, история уже произнесла приговор сто лет тому назад. Член думы Пуришкевич, защищая необходимость смертной казни, произносил здесь святыне, светлые имена Монтескье и Беккария. Если бы Беккария знал, что через сто лет его имя будет кощунственно упоминаться при защите смертной казни!

Военно-полевые суды просуществовали 6 месяцев. Они не дали никакого успокоения. Чем скорее они будут упразднены, тем скорее мы приблизимся к концу того ужаса, который окутал нашу родину. (*Бурные аплодисменты слева и в центре.*)

Алашеев (*Вятская губ.*). Господа народные представители! Я взошел на кафедру для того, чтобы отказаться от той чести, которую дал мне случай говорить по этому вопросу.

Вчерашний день депутат В. Гессен, внося предложение об отмене военно-полевых судов, мотивировал его быстрее разрешение той поспешностью, с какой приводятся в исполнение приговоры военно-полевых судов. Я полагал бы, что все наши разговоры ничего нового не внесут; поэтому я, отказываясь от своего слова, исполню здесь только поручение фракции народных социалистов, которая по поводу данного вопроса вынесла следующую резолюцию: «Фракция народных социалистов присоединяется к резолюции, предложенной членом Государственной думы В. Гессеном, и поддерживает поправку депутата Кузьмина-Караваева о пересмотре тех решений военно-полевых судов, по которым не состоялось еще смертных приговоров. Фракция находит необходимым передать рассмотрение этих дел суду присяжных заседателей». (*Аплодисменты.*)

Люц (*Херсонская губ.*). Я не стану затруднять внимания Госуд. думы и выступил на эту кафедру только для того, чтобы сделать маленькую поправку к словам представителя нашей партии, проф. Капустина, относительно выработки нового типа суда... Мы не можем быть спокойны после того, как сегодня с этой кафедры говорилось: «Мы не успокоимся до тех пор, пока не достигнем учредительного собрания». (*Шум на скамьях левой и центра и крики — «этого никто не говорил» — прерывают оратора.*)

Горбунов (*с места*). Господин председатель, прошу установить тот факт, что сегодня с этой кафедры ни слова не говорилось об учредительном собрании.

(*Председатель разъясняет оратору, что никто об учредительном собрании не говорил.*)

Люц (*продолжает*). Я сошлюсь на другой пример: на днях с этой кафедры депутат от Кавказа сказал, что они не успокоятся, пока не увидят своих администраторов у позорного столба. (*Голоса на скамьях левой: «Позорного, но законного столба».*) Я считаю своим долгом удостоверить эти слова стенографическим отчетом. Но пока не станет же Госуд. дума отрицать, что революция не прекратилась, акты ее продолжают. Я поэтому обращаюсь к представителям-юристам от партии народной свободы, внесшей это предложение, каким же судом они дадут возможность осуществить возмещенные царем-освободителем принципы суда скорого, правого и милостивого? Где гарантия суда скорого? Не в общих же судах они его найдут? Не станут же эти юристы отрицать, что общие суды наши завалены работой и стонут от дела? Не им ли знать, что наши судебные следователи, товарищи прокуроров отягощены работой, как почтовые лошади? Судьи не выходят из своих цепей...

Председатель. Поступило заявление за подписью 41 члена думы о прекращении прений ввиду того, что вопрос уже достаточно выяснен. Угодно поставить на баллотировку сделанное предложение?

Голоса (*слева*). Просим, просим!

Голоса (*справа*). Нет, это невозможно, просим продолжать.

Председатель. Ставлю на баллотировку внесенное предложение. Прошу лиц, не согласных с предложением, встать, а согласных сидеть. (*Встают по подсчету 35 человек.*)

Пуришкевич (*с места*). Ведь это невозможная вещь: со стороны левых выступает масса ораторов, а мы не можем им ответить.

Председатель. Предложение принято. Слово принадлежит председателю совета министров, который желает сделать разъяснение. Позвольте при этом довести до сведения думы, что докладчик имеет право на последнее слово не в очередь и без ограничения его 5 минутами.

Председатель совета министров. По обсуждаемому вопросу я прежде всего должен обратить внимание Гос. думы на то, что, по мнению правительства, он получает неправильное направление. Временные законы, которые вошли в силу во время приостановления действия думы, могут быть отменены только согласно ст. 87 основных государственных законов. Статья 87 гласит, что действие такой меры прекращается, если подлежащим министром или главноуправляющим отдельную часть не будет внесен в Госуд. думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий думы соответствующий принятый мерам законопроект. Следовательно, самим законом установлен порядок прекращения такого временного закона. Казалось бы, что другого порядка быть не может, но если даже принять другую точку зрения, т. е. что и временные законы могут быть прекращены таким же порядком, как и законы постоянные, т. е. согласно ст. 55 учреждения о Гос. думе, то и в этом случае обсуждаться, по существу, этот вопрос может не ранее месяца после представления г. председателем думы письменного о том заявления за подписью 30 членов думы. Итак, по закону вопрос этот мог бы обсуждаться не ранее 12 апреля, так как 12 марта было подано такого рода заявление. Если проект наказа противоречит этому закону, то проект неправилен, и потому он и не был опубликован Сенатом в прошлом году. Я говорю только для того, чтобы установить, что в порядке ст. 87 или ст. 55 закон о военно-полевых судах законным образом мог бы, во всяком случае, потерять силу не ранее конца апреля. Но это, господа, формальная сторона дела. Тут прения шли по существу.

Мы слышали тут обвинения правительству, мы слышали о том, что у него руки в крови, мы слышали, что для России стыд и позор, что в нашем государстве были осуществлены такие меры, как военно-полевые суды. Я понимаю, что хотя эти прения не могут привести к реальному результату, но вся дума ждет от правительства ответа прямого и ясного на вопрос, как правительство относится к продолжению действия в стране закона о военно-полевых судах?

Я, господа, от ответа не уклоняюсь. Я не буду отвечать на нападки за превышение власти, за неправильности, допущенные при применении этого закона. Нарекания эти голословны, необоснованны, и на них отвечать преждевременно. Я буду говорить по другому, более важному вопросу. Я буду говорить о нападках на самую природу этого закона, на то, что это позор, злодеяние и преступление, вносящее разврат в основы самого государства.

Самое яркое отражение эти доводы получили в речи члена Гос. думы Маклакова. Если бы я начал ему возражать, то, несомненно, мне пришлось бы вступить с ним в юридический спор. Я должен был бы стать защитником военно-полевых судов как судебного, как юридического института. Но в этой плоскости мышления, я думаю, что я ни с г. Маклаковым, ни с другими ораторами, отстаивающими тот же принцип, — я думаю, я с ними не разошелся бы. Трудно возражать тонкому юристу, талантливо отстаивающему доктрину. Но, господа, государство должно мыслить иначе, оно должно становиться на другую точку зрения, и в этом отношении мое убеждение неизменно. Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Это было, это есть, это будет всегда и неизменно. Этот принцип в природе человека, он в природе самого государства. Когда дом горит, господа, вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. Когда человек болен, его организм лечат, отравляя его ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Этот порядок признается всеми государствами. Нет законодательства, которое не давало бы права правительству приостанавливать течение закона, когда государственная организация потрясена до корней, которое не давало бы ему полномочия приостанавливать все нормы права. Это, господа, состояние необходимой обороны: оно доводило государство не только до усиленных репрессий, не только до применения различных репрессий к различным

лицам и к различным категориям людей, — оно доводило государство до подчинения всех одной воле, произволу одного человека, оно доводило до диктатуры, которая иногда выводила государство из опасности, и приводило до спасения. Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбрать между целостью теорий и целостью отечества. Но с этой кафедры был сделан, господа, призыв к моей политической чести, к моей прямоте. Я должен открыто ответить, что такого рода временные меры не могут приобретать постоянного характера: когда они становятся длительными, то, во-первых, они теряют свою силу и затем они могут отразиться на самом народе, нравы которого должны воспитываться законом. Временная мера — мера суровая, она должна сломить преступную волну, должна сломить уродливые явления и отойти в вечность. Поэтому правительство должно в настоящее время ясно дать себе отчет о положении страны, ясно дать ответ, что оно обязано делать.

И вот возникают два вопроса. Может ли правительство, в силу ли оно ограждать жизнь и собственность русского гражданина обычными способами, применением обыкновенных законов? Но может быть и другой вопрос. Надо себя спросить, не является ли такой исключительный закон преградой для естественного течения народной жизни, для направления ее в естественное, спокойное русло?

На первый вопрос, господа, ответ не труден, он ясен из бывших тут прений. К сожалению, кровавый бред, господа, не пошел еще на убыль и едва ли обыкновенным способом подавить его по плечу нашим обыкновенным установлениям. Второй вопрос сложнее: что будет, если противоправительственному течению дать естественный ход, если не противопоставить ему силу? Мы слышали тут заявление группы социалистов-революционеров. Я думаю, что их учение не сходно с учением социалистических и революционных партий, что тут играет роль созвучие названий и что здесь присутствующим не разделяют программы этих партий. На заданный вопрос ответ надо черпать из документов. Я беру документ официальный, избирательную программу российской социальной рабочей партии. Я читаю в ней: «Только под натиском широких народных масс, под напором народного восстания поколеблется армия, на которую опирается правительство, падут твердые самодержавного деспотизма, только борьбою завоюет народ государственную власть, завоюет землю и волю». В окончательном тезисе я прочитываю: «Чтоб основа государства была установлена свободно избранными представителями всего народа, чтобы для этой цели было создано учредительное собрание всеобщим, прямым, равным и тайным, без различия веры, пола и национальности, голосованием; чтобы все власти и должностные лица избирались народом и смещались им; в стране не может быть иной власти, кроме поставленной народом и ответственной перед ним и его представителями; чтобы Россия стала демократической республикой». Передо мной другой документ: резолюция съезда, бывшего в Таммерфорсе перед началом действия Г. думы. В резолюции я читаю: «Съезд решительно высказывается против тактики, определяющей задачи думы как органическую работу в сотрудничестве с правительством при самоограничении рамками думы для многих основных законов, не санкционированных народной волей». Затем резолюция окончательная: «Съезд находит необходимым, в виде временной меры, все центральные и местные террористические акты, направленные против агентов власти, имеющих руководящее, административно-политическое значение, поставить под непосредственный контроль и руководство центрального комитета. Вместе с тем съезд находит, что партия должна возможно более широко использовать для этого расширения и углубления своего влияния в стране все новые средства и поводы агитации и безостановочно развивать в стране, в целях поддержки, основные требования широкого народного движения, имеющего перейти во всеобщее восстание».

Господа, я не буду утруждать вашего внимания чтением других, не менее официальных документов. Я

задаю себе лишь вопрос о том, вправе ли правительство при таком положении дела сделать демонстративный шаг, не имеющий за собою реальной цены, шаг в сторону формального нарушения закона? Вправе ли правительство перед лицом своих верных слуг, ежеминутно подвергающихся смертельной опасности, сделать гласную уступку революции?

Вдумавшись в этот вопрос, всесторонне его взвешивая, правительство пришло к заключению, что страна ждет от него не оказательства слабости, а оказательства веры. Мы хотим верить, мы должны верить, что от вас, господа, мы услышим слова умиротворения, что вы прекратите кровавое безумие. Мы верим, что вы скажете то слово, которое заставит нас всех стать не на разрушение исторического здания России, а на пересоздание, переустройство его и украшение.

В ожидании этого слова правительство примет меры для того, чтобы ограничить суровый закон только самыми исключительными случаями самых дерзновенных преступлений, с тем чтобы, когда дума толкнет Россию на спокойную работу, закон этот пал сам собою — путем невнесения его на утверждение законодательного собрания.

Господа, в ваших руках успокоение России, которая, конечно, сумеет отличить кровь, о которой так много здесь говорилось, кровь на руках палачей, от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить труднопобольного.

(Председатель совета министров сходит с кафедры под аплодисменты на скамьях правых.)

Председатель. Слово принадлежит члену Гос. думы В. М. Гессену как докладчику по внесенному заявлению об отмене смертной казни.

В. М. Гессен. Господа народные представители. Г. председатель совета министров поднимает здесь в настоящее время юридический вопрос. Этот вопрос, разумеется, имеет существенное значение для дальнейшего направления интересующего нас дела; вопрос заключается в том, имеет ли Гос. дума право, не выжидая двухмесячного срока, в законодательном порядке отменить временный закон о военно-полевых судах. Господин председатель совета министров решает этот вопрос в отрицательном смысле, полагая, что Гос. дума, по положению о Гос. думе, такого права не имеет. Я сомневаюсь в юридической правильности такого решения. Можно указать прежде всего на то, что 87 ст. основных законов, о которой в настоящее время только и идет речь, находится в том отделе основных законов, где говорится о законах и, следовательно, временные законы рассматриваются как законы. То право, которое принадлежит Гос. думе по отношению к законам общим, это самое право, несомненно, принадлежит ей и по отношению к временным законам. Всякое иное толкование приводит с естественной необходимостью к совершенно невозможным выводам. Тогда необходимо было бы признать, что временный закон по самому основанию, закон, обладающий меньшей крепостью, твердой незыблемостью и постоянством, что этот временный закон, при том толковании ст. 87, какое угодно г. председателю совета министров, обладает сугубой крепостью, сугубой устойчивостью. Так, например, всякий закон постоянный, ну, хотя бы закон первой Гос. думы, мы можем отменить сейчас же, как только собралась вторая Гос. дума, а временный закон мы отменить не можем. Я глубоко убежден, что подобное толкование стоит в безусловном противоречии с основными законами и вовсе не вытекает из их буквы. Я думаю, что и Г. совет, если у нас пройдет этот проект и будет направлен в Г. совет, что и последний примет и поддержит этот законопроект по существу. Этим я ограничусь в возражение на те формальные юридические соображения, которые здесь приводил председатель совета министров. Перехожу теперь, господа народные представители, к обсуждению вопроса по существу.

Мне хотелось бы прежде всего отметить, категорически установить только одно: когда мы вносили наш законопроект об отмене военно-полевых судов, то мы имели в виду одну-единственную цель — ускорить

отмену учреждения, которое мы считаем антигосударственным и антикультурным, которое, по глубокому нашему убеждению, стоит на пути к водворению мира в стране. Прения, которые здесь происходили, к сожалению, вышли из рамок, намеченных этой целью. Нельзя отрицать того, что с разных сторон излагались партийные программы, нельзя отрицать того, что этой трибуной, думой воспользовались не как учреждением законодательным. Во всяком случае, я хочу вернуться к существу поставленного нами вопроса и остаться в его рамках. Какие были сделаны возражения. Против предложения, внесенного нами, о возражениях слева говорить не приходится, здесь возражений не было. С левой стороны выражены были пожелания о том, чтобы дополнить внесенный нами законопроект, указано было на то, что следует стремиться к отмене военно-полевой юрисдикции вообще для лиц, не состоящих на военной службе. Само собой разумеется, что к пожеланиям, высказанным с левой стороны, партия народной свободы присоединяется безусловно. Она полагает, что не только военно-полевые суды, но и военные суды в правовом государстве не могут, не должны иметь места. Однако же я обязан доложить Госуд. думе, что вопрос об отмене военной юрисдикции вообще по отношению к лицам, не состоящим на военной службе, является частью весьма и весьма сложного и большого вопроса об отмене так называемых исключительных положений, в частности положений об усиленной и чрезвычайной охране, ибо, как вам, разумеется, известно, право предания гражданских лиц военному суду предоставляется администрации исключительными положениями. Принимая во внимание, 1) что министерством юстиции внесен, как вам уже известно, законопроект о неприкосновенности личности, при обсуждении которого нам необходимо придется касаться вопроса об исключительных положениях; принимая во внимание, 2) что трудовая группа, как здесь уже было указано, в ближайшие дни вносит особый законопроект об исключительном положении, что партия народной свободы имеет в виду в ближайшие дни внести свой законопроект о неприкосновенности личности, — принимая все это во внимание, мы полагаем, что все эти материалы должны поступить и поступят в особую комиссию, и эта особая комиссия, при рассмотрении института исключительных положений, вообще должна будет остановить внимание на вопросе о военной юрисдикции по отношению к лицам, не состоящим на военной службе.

Наиболее существенные, принципиальные возражения против законопроекта, предложенного партией народной свободы, были высказаны справа, и к тем мыслям, которые были высказаны справа, в настоящее время присоединился председатель совета министров. Возражения против законопроекта, идущие справа, имеют двоякий характер. С одной стороны, правые ораторы касались юридической стороны вопроса, но в этом отношении они согласились с нами. Я считаю чрезвычайно важным категорически указать и подчеркнуть, что в оценке юридической природы того института, о котором в настоящее время идет речь, в Государственной думе двух мнений не существует. *(Голос справа: «Ничего подобного».)* Единогласно здесь указывалось, что военно-полевой суд не есть суд, указывалось на то, что военно-полевой суд есть призрак суда. Говорилось справа о том, что нельзя предъявлять военно-полевому суду те требования, которые мы вправе предъявлять суду вообще. Разве можно штыком пахать поле? И подобно тому как штыком нельзя пахать поле, так и военно-полевым судом нельзя судить. С этой точки зрения можно считать установленным, что военно-полевой суд не есть суд. Но в таком случае я спрошу, можно ли называть решение военно-полевого суда, который не есть суд, судебным приговором. Я спрошу, какая разница между казнью по приговору военно-полевого суда и политическим убийством? Я этой разницы, по совести, не вижу. В юридической оценке военно-полевой юстиции мы были согласны, и председатель совета министров в настоящее время указал на то, что, разумеется, военно-полевой суд не есть по крайней мере настоящий суд. Иное дело политическая оценка того института, о котором в настоящее время идет речь.

Здесь коренное разногласие. Мы полагаем, что отмена военно-полевых судов является безусловно необходимой. Наши оппоненты справа полагают, что отмена военно-полевых судов является в настоящее время преждевременной, и в доказательство этого здесь приводились примеры. Указывалось на землетрясение, которое будто бы теперь переживает Россия, и указывалось, что во время землетрясения такие меры необходимы. Точно ли вы думаете, что Россия в настоящее время переживает землетрясение, что оно длится 7 месяцев. (*Возгласы справа: «Больше».*) Да ведь от России не осталось бы следа, если бы пришлось пережить столь продолжительное землетрясение. Я думаю, что никто вам не поверит, что Россия переживает землетрясение, и если бы Европа поверила, то Россия сегодня была бы банкротом. (*Шум справа.*) Но, разумеется, Европа знает, что страна в своем огромном большинстве жаждет мирного, благотворного труда и что она послала нас в Г. думу для мирных парламентских преобразований ее политического и социального устройства. (*Аплодисменты центра; шум справа.*) Господа, председатель совета министров, со своей стороны, указал на то, что кровавый бред не пошел еще на убыль. Если бы действительно это было так, то казалось бы, что отсюда вытекает естественная и безусловная необходимость исправить путь борьбы. Господин председатель совета министров полагает, что, уступая желаниям, которые выражены большинством Г. думы, сделал бы уступку революции, я глубоко убежден в обратном. Я убежден в том, что в этой уступке никто не усмотрит уступки революции. Я думаю, что эта уступка была бы не доказательством слабости, а доказательством силы, ибо, не отменяя военно-полевые суды, правительство расписывается перед страной, расписывается перед Европой в своем бессилии править страной. (*Бурные аплодисменты центра и левой.*) Господин председатель совета министров полагает, что в наших руках умиротворение страны. Если бы оно действительно было в наших руках, то, разумеется, мы сделали бы все, что могли бы, чтобы это умиротворение наступило. Но, к сожалению, это умиротворение не в наших руках, и те, в чьих руках оно находится, ничего для этого сделать не желали. (*Аплодисменты левой и отчасти центра.*) Председатель совета министров боится уступить революции, и здесь же он объявил, что применение казни по приговору военно-полевых судов будет допускаться только в исключительных случаях, выходящих из ряда вон. Почему, делая ничтожный шаг, полшага навстречу народному представительству, он не хочет вместе с ним признать, что дальнейшее существование военно-полевой юстиции является безусловно невозможным? Я хочу еще, господа народные представители, сказать несколько слов о том характере речей, которые здесь нам приходилось выслушать справа. Когда я слушал эти речи, мне часто казалось, что ораторы занимаются мистификацией Государственной думы. Выступая перед нами как бы защитниками культуры против анархии, которая подрывается под ее основы, они обвиняли нас в сочувствии анархии, разрушению культуры. Вы, господа (*обращаясь к правым*), защитники культуры, вы приспешники старого режима, принципиальные враги всяческой свободы (*справа бурные протесты, шум, возгласы «неправда!»*, с левой и в центре громкие аплодисменты), вы не остановились перед тем, чтобы здесь, с этой трибуны, бросить ком грязи в чистое имя Короленко, нашего славного борца за свободу. (*Крики справа: «Довольно!»*) А мы, скромные труженики (*протесты и шум справа*) на почве культуры: врачи, адвокаты, статистики (*голоса слева: «Крестьяне...»*), мы враги культуры? Как вам поверить (*голоса справа: «Поверят нам русские, а не евреи»*)... Восставая против военно-полевых судов, мы возражали против системы правительственного террора во имя государственности и культуры, против той анархии, которая, между прочим, выражается и в политических убийствах и является великим злом — кто этого не признает? Она разрушает культуру, накопленную большими трудами многих поколений, она ведет к одичанию страны и отравляет народную нравственность, но не мы, а правительственный террор толкает

страну на путь анархии. Мы говорим: не толкайте страну на путь этой анархии и произвола, не играйте человеческою жизнью и не отнимайте ее по соображениям государственной пользы, не превращайте страну в *magnum latrocinium*, большой разбойничью шайку. (*Аплодисменты слева и в центре.*) Я чувствую огромную ответственность перед страной, когда говорю с этой трибуны, но в настоящее время я этой ответственности не боюсь. Нас с вами услышит страна, и нас с вами она рассудит, и она скажет, что мы защищали основы государственной жизни: скажет, что, протестуя против террора, мы требуем, чтобы государство покоилось на твердых законах, на независимом суде, на уважении к человеческой личности. (*Аплодисменты.*)

Председатель. Прения закончены. Приступаю к баллотировке. Во время прений внесено в письменном виде предложение о направлении внесенного законопроекта об отмене военно-полевых судов следующего содержания: 1) передать внесенный в Г. думу законопроект об отмене временных законов 19 августа 1906 г. в комиссию из 16 лиц, подлежащих избранию в сегодняшнем заседании, и обязать ее представить законопроект в окончательной форме в течение 24 часов; 2) признавая вопрос неотложным, предоставить председателю Г. думы назначить его к слушанию по возможности в один из ближайших дней. Кроме того, во время прений было сделано несколько предложений относительно существа вопроса. Все эти предложения, согласно правилам, подлежат не баллотировке, а лишь передаче в комиссию, если таковая будет образована, — как материал. Поэтому я полагаю, что в настоящее время подлежит баллотировке лишь предложение, мною только что прочитанное.

В. Гессен. Господа народные представители! Когда мы предлагали обязать комиссию представить нам готовый законопроект в 24 часа, мы, разумеется, не имели в виду возможность немедленного обсуждения этого законопроекта в Г. думе и считали, что председатель совета министров не пожелает воспользоваться тем месячным сроком, который предоставлен ему по закону. В настоящее время выясняется, что точка зрения председателя совета министров иная. Ввиду этого я полагаю, что обязывать комиссию определенным сроком совершенно не нужно и бесцельно; все равно обсуждать законопроект мы не можем, так как он не получит юридической силы. Поэтому не следовало бы ее ограничивать каким бы то ни было сроком.

Председатель. Таким образом, предложение принимает следующий вид: передать внесенный в Гос. думу законопроект об отмене временного закона 19 августа в комиссию из 16 лиц, подлежащих избранию в сегодняшнем заседании. (*В. Гессен: «Без определения в сегодняшнем заседании».*) Итак, подлежит баллотировке это предложение в том виде, как я его сейчас огласил. Позвольте поставить на баллотировку предложение, которое было сделано в начале заседания, с той поправкой, которая, естественно, явилась после слов председателя совета министров: «Передать внесенный в Госуд. думу законопроект об отмене временного закона 19 августа в комиссию из 16 лиц». Согласных с означенным предложением прошу сидеть, несогласных — встать. (*Встают крайние правые.*) Предложение принято подавляющим большинством голосов.

(*Голоса слева: «Просим поименного голосования».* *Голоса справа: «Просим повторить предложение».* *Председатель повторяет и ставит на баллотировку.* *Опять встают только крайние правые; все же остальные сидят.* *Голоса слева: «Поименное голосование».*)

Председатель. Господа, поименное голосование не нужно, потому что все, кто встал, они уже высказали свое мнение, и все эти мнения будут записаны в стенограммах. (*Шум. Правые кричат: «Мы не стыдимся поименного голосования!»* *Гр. Бобринский кричит: «Мы были бы горды...»* *Пуришкевич: «Просим поименного голосования».*) Ставлю на баллотировку предложение сделать поименное голосование. Кто против этого предложения, встает. (*Встает громадное большинство.*) Подавляющее большинство отклонило поименное голосование. (*Аплодисменты.*)

КРЕСТ И ПОЛУМЕСЯЦ

Владимир КОРОЛЕНКО

21 ноября 1912 года, во время 1-й Балканской войны, в московских «Русских ведомостях», №269, была опубликована статья В. Г. Короленко «Крест и полумесяц». Двумя днями позже она была перепечатана петербургским «Лучом» и «Нижегородским листком». Короленко выступил против разжигания вероисповедного фанатизма, против кровавых призывов к борьбе «креста с полумесяцем», за помощь всем страдающим от войны людям, «независимо от народности и веры».



Я прочел в «Нижегородском Листке» отчет о горбатовском земском собрании. В самом начале секретарь собрания г. Кожакин предложил послать телеграмму «с выражением сочувствия борющимся за свободу славянам». Затем возник вопрос о санитарной помощи. Далее в отчете читаем: «Гласный А. Ф. Гогин считает более правильным пожертвовать вообще для всех страждущих от войны без различия народности. Против этого предложения горячо протестует священник о. Любимский.

— Турки избивают христиан, и давать что-либо этим зверям (sic) не следует,— говорит он.

Гласный Гогин возразил:

— Меня крайне удивляет, что пастырь церкви с крестом на шее говорит слова, чуждые человеколюбия. Священником совершенно забыта притча о милосердном самарянине».

Собрание большинством голосов постановило ассигновать по 100 рублей на каждое славянское государство. Помощь всем страждущим без различия народности отвергнута.

Газета, в которой помещен этот отчет, решительно становится на сторону гл. Гогина. Отметив с большой симпатией, что общество мира в Москве ассигновало пожертвование одинаково на раненых турок и славян,— г. Перо, автор заметки, находит, что священник, назвавший турок «зверями», мог бы прибавить: пусть подымают.

Да, это было бы и последовательно, и особенно выразительно в устах священника, который в неделю о самарянине проникновенным голосом читает и превосходную притчу, как бы предвидевшую из глубины веков и наши войны, и наш национализм, и горбатовское земское собрание, и милосердное предложение гласного Гогина, и даже... возражение священника. Только о. Любимский, столько раз читавший поучительную притчу, не понял ее и не остерегся выступить в земском собрании в непривлекательной роли священника и левита, которые «увидели и прошли мимо».

Я не знаю, кто такой г. Гогин. Интеллигентный человек или простец, которому его предложение подсказано правильным чувством. Во всяком случае вопрос, им поставленный в захолустном земском собрании, возник не в одном Горбатове и находил самостоятельные отголоски в провинциальной прессе. Недавно Александр Яблоновский в «Киевской Мысли»¹ с негодованием опровергал нехороший ходячий предрассудок, который о. Любимский так удачно (хотя и бессознательно) формулировал в одной фразе: «турки — звери», и им помогать нельзя. «Со всех сторон, покинув плачущие в огне деревни, в столицу потянулись турецкие мужики-хлебопашцы. С детьми, с домашней скотиной, нагруживши на возы нищенский скарб, эти десятки

тысяч разоренных и голодных людей расположились лагерем вокруг столицы... В город их не пускают... В ожидании переправы на анатолийский берег эти люди просят милостыни, и их маленькие дети едят траву и листья, потому что хлеба давно уже нет... Нет и не будет. Их судьба сложилась до ужаса просто: позади — пылающие деревни, в настоящем — холера, в будущем — голод. И вот,— говорит автор,— против этих людей русские литераторы, пишущие в газетах, "подымают меч отмщения"...»

Все ли турки «звери»? Больше ли среди них «зверей», чем в других нациях при тех же условиях?.. Может быть... Века заносчивого национализма и деспотии не проходят даром. Но... война вообще дело зверское. Недавно наши газеты обошел новый славянский военный марш, положенный на музыку и разосланный в войска. Сказать правду, этот марш христиан нельзя читать без содрогания. В нем на разные лады повторяются три слова: мсти, не щади, бей... Достаточно представить себе, что позади описанной выше толпы турецких мужиков с детьми, питающимися травой, звучит еще этот «марш», чтобы понять, что традиционный образ «башибузука» не покрывает всех турок, а на стороне христиан — не одно лишь покорное страдание. Нельзя все-таки забывать, что приказы, исходившие от турецких властей, говорили о необходимости человеческого отношения к противнику, о пощаде мирного населения занимаемых местностей... Это только заискивание перед Европой? Уступка европейскому общественному мнению? Пусть так. Нельзя, однако, не сказать, что это недурное влияние общественного мнения и хорошая уступка...

II

К сожалению, даже в части передовой русской прессы слышатся голоса, солидарные с отцом Любимским, а не с гласным Гогиним. Вспоминаю, что г. Дорошевич в «Русском Слове» соглашался допустить помощь страдающим туркам... Но лишь тогда, когда в лагере союзников не останется ни одной не перевязанной раны.

Иначе сказать — никогда.

Я полагаю, что тут есть огромная ошибка. Люди, думающие, как г. Дорошевич, руководятся, по-видимому, следующим простым расчетом: славянская рана болит так же, как и турецкая. И если помощь может быть оказана, скажем, сотне тысяч человек,— зачем нам дробить ее между христианами и турками. Можно облегчить сто тысяч единиц страдания... Пусть это и будет сто тысяч христиан.

По-видимому, просто. Но в том-то и дело, что уж слишком просто. Есть явления, которые не исчерпываются счетом и мерой. Иной раз то или другое общественное действие может иметь огромное символическое значение, в свою очередь влияющее и на счет, и на меру.

¹ 11 ноября, №313.

Таков смысл предложения, которое внес в горбатовском земском собрании скромный уездный гласный и против чего возразил горбатовский «левит». Стоит только представить себе, что над кровавыми полями несчастной Турции поднялся символ любви и помощи страдающим людям, независимо от народности и веры, что христианская рука протянула бы кусок хлеба мусульманскому ребенку, убегающему из сожженной родной деревни... Это значило бы, что в войну вмешалась новая сила, что на этих залитых кровью полях сделан шаг к новой победе. Победе не турок над славянами или славян над турками, — эти вопросы решаются только числом смертей и количеством ран, — а победе грядущей человечности, подымающей свой нейтральный флаг среди ужасов вражды и крови... И кто же может учесть, насколько это смягчило бы со временем самые формы войны? Скольким христианам в глубине коренных турецких владений могло бы спасти жизнь в дальнейшей, может быть, еще долгой и ужасной борьбе. Сколько устранило бы поводов для новых жестокостей, сколько выкинуло бы звеньев из вековой цепи взаимных обид и мести!..

Да, есть еще много соображений помимо простого счета больших и раненых. В турецких войсках есть немало христиан, от которых «присяга» требует участия в защите Турции, как требовала бы она у наших русских мусульман участия в защите России против турок.

Это уже бывало, и они защищали. В глубине Малой Азии есть целые села (например, Майнос) с чисто русским населением, которое теперь окружено болезненно напряженными чувствами мусульманского мира. У нас — много соотечественников-магометан, прислушивающихся с понятным волнением к нашим толкам о войне. Недавно нам пришлось читать протесты этих наших соотечественников, глубоко задетых статьями г. Доросевича и г. Философова, в которых они увидели вызов своим религиозным и племенным чувствам.

Шесть лет назад Россия пережила тоже ряд тяжелых и бесславных поражений. Я не знаю, как вели себя при этом турки и старались ли дать почувствовать свою радость тем русским, которые живут среди них и в Европейской, и в Азиатской Турции. Возможно, что это где-нибудь и было. Но, конечно, нельзя сказать, что это было хорошо и чтобы это заслуживало подражания с нашей стороны. Нет, это было (если было) так же плохо, как и то, когда мы теперь стараемся внушить нашим мусульманским соотечественникам, что на балканских полях решаются не вопросы о том, что союзные балканские государства хотят закрепить возросшую силу формулой большего относительного влияния и ян и я. И не о том, что и м н у ж е н выход к морям, что они хотят «исправить свои границы и защитить на будущее время родственные племена от избалованного веками турецкого национализма». Все это была бы только

суровая и трезвая правда. Зачем же вместо нее подставлять патетическую формулу о «борьбе креста с полумесяцем», т. е. о борьбе всей христианской веры, которую исповедуем мы и некоторые подданные Турции, со всем мусульманством, которое исповедует Турция и некоторые подданные России?

Разве вера по вере стреляет из пушек? А если стреляет, то хорошо ли делает?

Эта борьба может идти на кафедрах богословия, в полемических и апологетических сочинениях духовных и светских богословов, пусть даже, если угодно, в ученых диспутах «религиозно-философского общества». Но разворачивать религиозные несогласия, как знамя раздора, в такие минуты, когда льется кровь и напряженные страсти без того дрожат отголосками близких катаклизмов, внушать нашим мусульманам, что на Балканах идет не только борьба с турками балканских народов из-за определенных интересов, а еще борьба «креста с полумесяцем», т. е. н а ш а борьба с н и м и д е т е х пор, пока они не откажутся от своих верований и племенных свойств, — едва ли это можно считать удачным проявлением христианского духа. Думаю, простой здравый смысл и простое человеческое чувство диктует, наоборот, особенное внимание и особенную деликатность в отношении к настроению наших соотечественников-мусульман. Более чем когда-либо задача передовой печати состоит теперь в борьбе с вероисповедным и племенным фанатизмом, в том, чтобы дать понять нашим мусульманам, что мы им не враги, а соотечественники и братья. И только тогда, только с этой точки зрения мы вправе осуждать тех турок, которые раздувают вражду к живущим среди них христианам.

Христианство толкуется разное, и я, конечно, не считаю себя достаточно компетентным истолкователем его канонической или исторической точки зрения. Едва ли, однако, нужно быть начетчиком, чтобы видеть, что истинное христианство звучит в предложениях гг. Гогиных, а не в протестах священников Любимских.

А победа «креста над полумесяцем»? В чем же она? В войне? В убийствах? Но ведь царство креста — не от мира сего, т. е. не от того мира, где гремят пушки и где победу приходится учитывать количеством убитых и раненых. Это в лучшем случае область «печальных necessities», а идеалы, в том числе и особенно идеал христианский, — в другой плоскости. Вот если бы действительно «красный крест» первый сумел, среди ужасов раздора и смерти, осуществить хотя бы скромное дело любви просто к человеку, без различия народностей, то это был бы шаг вперед к тому взыскуемому царству, где кресту единственно подобало бы искать с в о и х побед и с в о и х завоеваний.

1912 г.

Публикация и вступительная заметка
Павла НЕГРЕТОВА.

МАТ В РУССКОЙ ПРОЗЕ



Вадим ЛИНЕЦКИЙ

Тема, которой посвящены нижеследующие заметки, — тема неблагоприятная. Заранее можно сказать, что, кроме неприятностей, автору она ничего не принесет. Легко вообразить, что теоретика на этом поприще может прийти еще хуже, чем практику. У всех в памяти пример Тимура Кибирова, едва-едва не подвергшегося штрафу за весьма раскованное словоупотребление в стихотворном послании Л. Рубинштейну (отрывки из него напечатаны рижской «Атмодой» от 21 августа 1989 года; полностью см. «Синтаксис», 1989, №26), да и то исключительно благодаря своевременному заступничеству ряда авторитетов, среди которых следует прежде всего назвать М. Гаспарова. Не знаю, как для Кибирова, но для меня угроза штрафа — веский аргумент, ибо у данной нам навьюренной шинели есть лишь один недостаток — тот именно, что в карманах у нее гуляет ветер. Уже одно это гарантия того, что автор приложит все силы, дабы не нарушать общественных приличий. После тако-

го жеста доброй воли я со своей стороны вправе ожидать ответных шагов и от читателей, иными словами — рассчитывать по крайней мере на их спокойное, интеллигентное внимание.

Я понимаю, конечно, что нам сейчас вообще трудно о чем бы то ни было говорить спокойно и интеллигентно, а на эту тему, вероятно, трудно вдвойне. Трудно не значит невозможно. В этом меня убеждает беседа, опубликованная в «Иностранной литературе» (1990, №7). В числе вопросов, которые спокойно обсуждались авторами и издателями журналов русского зарубежья, был и вопрос о том, допустимо ли использовать мат в русском литературном тексте. В той же «Иностранной литературе» еще в глубоко застойные годы была проведена дискуссия, целиком посвященная этой проблеме — правда, только в отношении передачи разговорной речи в переводах современной зарубежной литературы. Причем участники дискуссии сумели проявить завидную для нас се-



годня сдержанность. Поскольку во время этих дискуссий было высказано практически все, что можно возразить против использования мата в художественной литературе, в дальнейшем мы, вероятно, будем не раз обращаться к ним, параллельно по мере сил делая вид, что однообразных инвектив по адресу «матерщинников», без коих в последнее время не обходится ни одно из публичных заявлений наших патристствующих литераторов, просто не существует.

Было бы ошибкой думать, что вопрос о допустимости мата прост. Напротив, он запутан, и что всего печальнее — запутан людьми серьезными и уважаемыми. Уже одно то, что о нем вспоминают чаще в связи с переводческими проблемами, свидетельствует о нежелании разобраться в этом деле по существу. Было бы, разумеется, крайне забавно, если бы мат проник в русскую литературу окольным путем, путем перевода, и мы наконец примирились бы с существованием этого достаточно своеобразного создания народного гения, получив его с Запада. Однако поднимать в этой связи проблему перевода означает, по моему глубокому убеждению, ставить телегу впереди лошади. Поскольку перевод так или иначе ориентируется на оригинальную литературу, то с нее и надо начинать, причем ставить вопрос не абстрактно: допустим ли мат как таковой? Ибо как таковой мат ни в коем случае недопустим, особенно в присутствии малолетних. Вопрос о допустимости мата должен решаться в зависимости от того, существуют ли в оригинальной литературе процессы неотменимые и закономерные, в рамках которых использование мата, равно как и других форм обсценной лексики, становится осознанной необходимостью, а не проявлением волюнтаризма того или иного лица.

И с этой точки зрения (встав на которую, мы гарантируем себя от субъективных пристрастий и посторонних соображений) приходится сразу же отстранить как не имеющий отношения к делу один из самых ходовых аргументов противников легализации мата. Ю. Карабчиевский, например, в упомянутой выше беседе высказал свое личное убеждение в традиционном целомудрии русского литературного языка, которое «происходит не от косности его и отсталости или от какого-то особого ханжества, но является его органическим, необходимым качеством». Вряд ли можно назвать органичным существование целомудренного литературного языка у народа совсем не целомудренного, каков наш русский народ (впрочем, не отличающийся в этом своем качестве от большинства прочих народов), если, конечно, не выдавать это за еще одну умом непостижимую антиномию национального характера, свод которых дан в «Русской идее» Бердяева. Впрочем, не исключено, что мое недоумение вызвано тем, что Карабчиевский как интеллигент до мозга костей и либерал до кончиков пальцев понимает целомудрие несколько иначе, чем привык понимать его я, архаичный человек. Но если уж на то пошло, дело не в том даже, каков наш язык, — дело в том, почему он стал таким, то есть почему у нас не дозволено то, что давно и широко допустимо в большинстве других европейских языков.

Обратимся к давней переводческой дискуссии в «Иностранной литературе», обладавшей тем достоинством, что разговор велся в максимально широком культурно-историческом контексте.

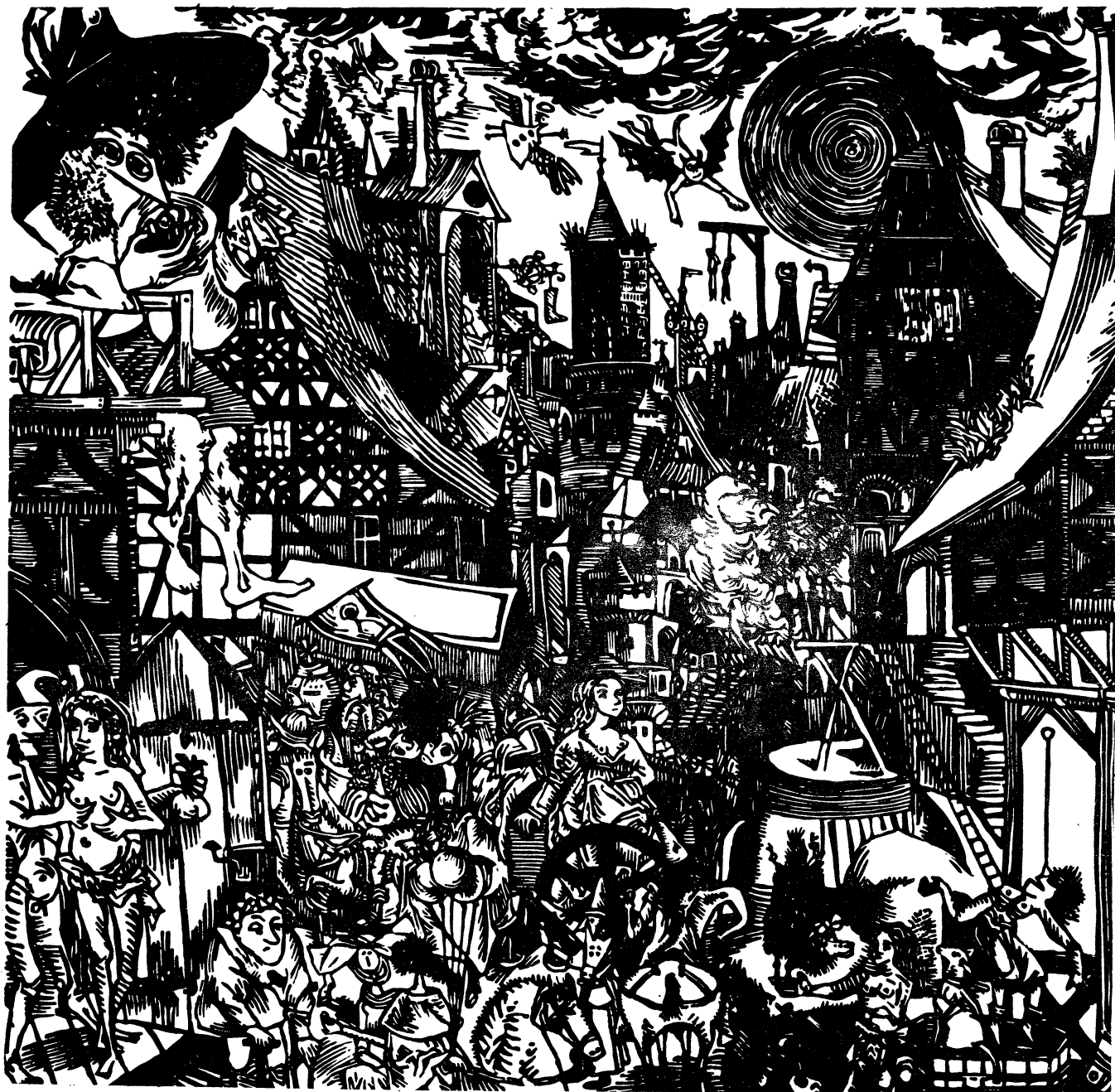
«Различный культурно-исторический опыт народов ответствен за разное восприятие многих слов, обозначающих, казалось бы, одни и те же понятия... Действительно, почему слова, обозначающие определенные части тела или интимные отношения, вполне терпит, скажем, испанская бумага, а мы невольно отводим глаза, встречая их нацарапанными на заборе?» По мнению Людмилы Синянской, известной переводчицы испаноязычной прозы, все упирается в отсутствие у нас Возрождения «с его интересом к человеку как части природы, с культом человеческого тела».

При видимой серьезности ответ этот заводит нас в тупик не хуже разговоров об исконном целомудрии русского языка. Историю ведь не изменишь, и раз у нас не было Возрождения, с чего бы это нам претендовать на те его плоды, коими пользуются народы, имевшие Ренессанс? А посему будем и впредь, не заглядываясь по сторонам, двигать своим путем, куда бы путь этот нас ни привел.

Впрочем, я последний буду сетовать на отсутствие у нас Возрождения. Я-то считаю, что нам здесь очень и очень повезло, причем сразу в нескольких смыслах. К тому же применительно к нашей теме отсутствие Возрождения само по себе вообще ничего не объясняет.

Площадное слово, связанное с материально-телесным низом, было неотъемлемым элементом народной смеховой культуры — как средневековой Европы, так и Древней Руси. Отношение к ней со стороны культуры официальной было в обоих случаях неоднозначным: смеховую культуру терпели, с ее существованием мирились, хотя и пробовали с ней бороться, так что периоды запретов чередовались с периодами послаблений, признанием за ней особых прав. Точно так же и «карнавализация культуры» на отрезке европейского Возрождения, о которой писал Бахтин, вполне сопоставима с реабилитацией смеха, предпринятой Петром в рамках его реформ (см.: Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л. 1976; Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л. 1984). При всех различиях в масштабах, времени и характере этих процессов в Европе и в России говорить о коренной их противоположности, однако, нельзя. Принципиальные отличия следует искать в топике культуры. Новоевропейские культуры потому и унаследовали хартию «карнавальных свобод» (признававшую в том числе и свободу площадного слова), что писатель нового времени чувствовал себя законным наследником тех, кто создавал рекреативную и ярмарочную литературу средних веков, всех этих продавцов и рекламистов различных снадобий, ярмарочных зазывал, нищих школяров и т. п. В России же, когда пришла пора определить место «трудника слова», писателя в светской культуре, из трех вариантов — скомороха, профессионала и пророка — выбор был сделан в пользу последнего, чей образ принадлежал к топике официальной культуры и подчинялся ее законам, накладывавшим однозначный запрет на площадное слово. По словам А. М. Панченко, больше всего русские поэты боялись прослыть шутами — и эта их боязнь, выражавшаяся в том, что наибольшее отталкивание вызывали образы скомороха и юродивого, дала свои плоды.

Этим были предопределены дальнейшие судьбы



культуры на Западе и в России. Если в Европе писатель получил в наследство от ярмарочных зазывал охранную грамоту, гарантировавшую личную неприкосновенность, то в России с писателем обращались так, как всегда и везде обращались с пророками, — гнали и побивали камнями. Уже первого русского писателя, погибшего от руки палача — Сильвестра Медведева, — обвиняли в том, что этот преемник Симеона Полоцкого хотел стать патриархом, хотя в материалах розыска, по свидетельству современного исследователя, нет ни малейшего повода для обвинений Медведева в посягательстве на патриаршество. «И все-таки это не клевета...: «учительствующий» поэт в глазах традиционалистов естественным образом ассоциируется с архипастырем» (А. М. Панченко).

Закономерным итогом узурпации русской литературой функций истинных духовных пастырей стал 1917 год, поставивший перед культурой вопрос о роли писателя и о реальном месте его слова.

Раньше всех по горячим следам об этом заговорил В. В. Розанов: «Еще никогда не бывало случая, «судьбы», «рока», — чтобы — «литература сломила наконец царство», «разнесла жизнь народа по косточкам», «по лепесткам», чтобы она «разорвала труд народный», переделала «делание» в «неделание», — завертела, закружила все и переделала всю жизнь... в сюжет одной из повестей гениально-го своего писателя: «Записки сумасшедшего»... «Литература», которая была «смертью своего отчества». *Этого ни единому историку никогда не могло вообразиться.* Но между тем совершенно реальна эта особенность, что «ни одной поломки корабля» и «порчи машины» нельзя указать без ее «литературного источника» («С вершины тысячелетней пирамиды»).

Очень выразительно писал о неумеренном социальном профетизме русской литературы XIX века В. Т. Шаламов, чьи размышления на этот счет становятся ныне весьма популярными («Критик и пи-

сатель приучили поколения писателей и читателей русских к мысли, что главное для писателя — это жизненное учительство, обучение добру, самоотверженная борьба против зла. Все террористы прошли эту толстовскую стадию, эту вегетарианскую, морализаторскую школу. Русская литература второй половины девятнадцатого века... хорошо подготовила почву для крови, пролитой в XX веке на наших с Вами глазах. Литературоведение наше нуждается в такой капитальной работе — установлении истинного места Толстого в нашей жизни, и нашей культуре, и нашей истории... Во вторую половину XIX века в русской литературе укрепляется антипушкинский нравоучительный описательный роман... пока не будет осужден самый принцип описательности произведения — литературных побед нет. Да и чему писатель может научить человека, прошедшего войну, революцию, концлагерь, видевшего пламя Аламогордо». — Письмо Ю. А. Шрейдеру). Порвать с этой традицией должна была, по замыслу Шаламова, «новая проза», в шаламовском манифесте которой все чаще пытаются опознать теоретическую платформу нынешней «другой» прозы. Чаемого разрыва, однако, у Шаламова не произошло, ибо неизменным оставался сам образ писателя как феномен не только литературной, но и общественной жизни. Мы говорим: Шаламов (или Достоевский, Лев Толстой и т. д.), — подразумеваем: большой авторитет. Шаламова можно цитировать, можно апеллировать к нему в довольно неожиданных контекстах — подобно тому как инстанцией для решения самых неподходящих вопросов были наши классики прошлого века. Подлинно новая, или, если хотите, другая, проза связана с изменением самого образа писателя в читательском сознании, что влечет за собой новое (другое) отношение к авторскому слову. Такое переосмысление образа автора, связанное с добровольным отказом от функций пророка, было совершено не Шаламовым, но Абрамом Терцем, сознательно ориентировавшимся при этом на традицию юродства. (Абрама Терца не следует путать с почтенным литературоведом Андреем Донатовичем Синявским.) Юродство оставалось не востребуемым резервом русской культуры, и хотя к его традиции восходит ряд замечательных ее достижений (князь Мышкин Достоевского — первый тому пример), однако именно Терц попытался строить из этого материала свой образ, то есть образ писателя, а не конструировать из него литературных героев.

Своим словом, зачастую площадным (следует иметь в виду, что в устах юродивого оно было вполне легальным в Древней Руси), юродивый ничего не возвещает, никого не судит, не критикует и не обличает. Критикой и обличением любого статус-кво является само присутствие юродивого, его поведение. Наедине с собой юродивый не юродствует, в известном смысле он актер. Поэтому реализация эстетических потенций юродства для литературы означает целенаправленную работу писателя над своим образом — работу, которая должна, по идее, завершиться созданием м а с к и, д о й н и к а, начинающего вести автономное, отдельное от своего создателя существование. Последовательно проведенное «раздвоение», напоминая об автономности литературы, является, таким образом, критикой господствующих в литературе тенденций, враждебных такой автономности.

Образ писателя и является тем критерием, по которому целесообразно определять реальную степень новизны любой прозы, претендующей называться новой. И с этой точки зрения Саша Соколов или Юрий Мамлеев — вполне традиционные для русской литературы фигуры (Мамлеев как автор философских трактатов особенно точно соответствует традиционным представлениям о том, что должен делать и как должен себя держать русский писатель). То же следует сказать и о Викторе Ерофееве: его полемические выступления бьют мимо цели — ведь это выступления того же Виктора Ерофеева, который написал «Жизнь с идиотом». В итоге читатель, желая уяснить себе ситуацию, подкладывает под нее Гоголя и «Выбранные места...» — тот самый «архетип» русского литературного развития, с которым полемизирует Виктор Ерофеев. По-настоящему новы для русской литературы Абрам Терц, Венедикт Ерофеев, Э. Лимонов — первые полноценные юродивые русской литературы. Это не значит, однако, что Саша Соколов непременно хуже Э. Лимонова или, наоборот, лучше его, — это значит только то, что они разные. Странная, в сущности, оговорка, но, зная отечественные нравы, сделать ее необходимо.

Реализация эстетических потенций юродства оправдывает использование обценной лексики, и в частности мата. Последний имеет целью не столько эпатаж публики, сколько снижение образа автора (ставящее задачей напомнить, во что ценилась жизнь писателя на Руси — при всеобщем преклонении перед его словом), «поругание» традиционных представлений о функциях писателя в русской жизни. (Сравним у Г. П. Федотова: «"Юрод" и "похаб" — эпитеты, безразлично употреблявшиеся в Древней Руси, — по-видимому, выражают две стороны надругания над "нормальной" человеческой природой: рациональной и моральной... Юродивый стал преемником святого князя в социальном служении. С другой стороны, едва ли случайно святое поправление быта в юродстве совпадает с торжеством православия. Юродивые восстанавливают нарушенное духовное равновесие». Подобно этому писательское юродство должно стать преемником пророческого служения писателя, коль скоро последнее стараниями Горького было вменено в обязанность запертым в клетку бунтовщикам коммунистического элизума.)

Тем самым вопрос о допустимости мата не есть в собственном смысле вопрос расширения тематических рамок. Характерно, что именно те произведения, авторы которых, вполне в русле заветов «века реализма», ставят своей исключительной целью обследование социальных окраин и маргинальных слоев общества, игнорировавшихся официальной литературой, могут в принципе без мата и обойтись. Пример тому тот же Шаламов. С точки зрения тематической, ничего не прибавляет написание неблагопристойного слова целиком, так же как ничего не убавляет замена его достаточно разработанными у нас для этого способами. То же следует сказать и о чисто экспрессивной функции матерных слов, теряющих в этом случае всякую смысловую нагрузку. И напротив, в деле построения нового образа писателя, полемически заостренного против традиционных представлений о его роли, совершенно необходимо использование мата во всех функциях, и не в последнюю очередь в качестве терминов.

Справедливо, что такое употребление действительно обрекает язык на утрату «иерархии слова», при сохранении которой только и возможен феномен «веского авторского слова», о чем предупреждает нас Карабчиевский (изумительная особенность которого как критика, кстати сказать, состоит в умении весьма тонко подметить симптомы, но дать им абсолютно неверное истолкование). Однако такая утрата оказывается целесообразной, если ставится задача дезориентировать читателя, привыкшего обращаться к литературе в поисках однозначного ответа на вопрос: ке-фер? (Что делать?) Вот этого, к сожалению, Карабчиевский никак не хочет уразуметь. «...наиболее известные наши эмигрантские авторы, которые преуспели в данной области, упившись свободой на всю катушку, насытившись вдоволь и насладившись, — пишет он, — теперь, сколько я могу судить, отказываются от мата как термина, да и проходные выражения матерные начинают использовать куда как экономней, далеко не с той, прежней безоглядной щедростью». Что до эмигрантских авторов, то, сколько могу судить я, отказываются от мата как раз те из них, кто пользовался им либо исключительно как идиомой, либо для расширения тематического диапазона, то есть именно в тех случаях, которые, кажется, скрепя сердце готов амнистировать Карабчиевский. В то же время очевидно, что задачи, которые решал Венедикт Ерофеев, исключали для него возможность отказаться от мата.

Впрочем, для Венедикта Ерофеева Карабчиевский также готов сделать специальную поблажку, равно как для протопопы Аввакума. Но этим он только вредит самому себе и, напротив, невольно подтверждает наши соображения, излагать которые мы уже заканчиваем. Ведь в том и значении Аввакума для светской литературы, что он самым решительным образом порвал с традиционными для его времени представлениями о функциях автора и его образе, во-первых, самочинно решив, что его жизнь достойна стать житием, и, во-вторых, написав это житие сам, не дожидаясь, пока до этого дойдут руки у анонимного агиографа. Пересмысление роли автора нарушало традиционную для агиографии иерархию слов, внося в нее хаос и неразбериху, давая возможность использовать все запасы «природного русского языка», который Аввакум любил не меньше, чем все мы. Вопрос, насколько эта работа была сознательной, мы оставим в стороне, указав лишь, что определенную роль здесь сыграло то, что Аввакум оказался в положении аутсайдера, изгоя, лишнего человека — словом, в том самом положении, в которое любили ставить своих героев писатели «века реализма», но оказаться в котором сами они больше всего боялись.

Сознательное аутсайдерство, роль парии, юродивого — неперенный элемент в облике автора новой прозы. Продуманно и, я бы сказал, изящно он выражен у Абрама Терца; достаточно определенно у Венедикта Ерофеева, умалившего «пророка в себе» (то есть Гоголя, на которого кивает его поэма) до образа Венички, ставшего персонажем интеллигентского фольклора (это ввело в заблуждение известного слависта В. Казака, поставившего между ними знак равенства); несколько прямолинейно, с нажимом — у Э. Лимонова. Внимание читателя их книг по традиции фокусируется на авторе, словам которого мы готовимся внимать со

всей возможной серьезностью. Помешать нам — одна из задач упомянутых авторов. Радикальное средство для этого — мат, который становится препятствием для любых поползновений выстроить серьезное суждение, идеологическую мысль либо присвоить этот статус суждениям и мыслям, отнюдь к тому не предназначенным. (Сравним у Бахтина: «У всех современных народов есть еще огромные сферы непубликуемой речи, которые с точки зрения литературно-разговорного языка, воспитанного на нормах и точках зрения языка литературного, признаются как бы несуществующими. Лишь жалкие и приглаженные обрывки этих непубликуемых сфер речевого жизни проникают на книжные страницы в большинстве случаев в качестве «колоритных диалогов» действующих лиц (они появляются в речевом плане, наиболее отдаленном от плоскости прямой и серьезной авторской речи). Строить в этих речевых сферах серьезное суждение, идеологическую мысль представляется невозможным — не потому, что эти сферы обычно пестрят непристойностями... но потому, что они представляются чем-то алогичным, границы в них проводятся совершенно иначе, чем это требует и допускает господствующая картина мира».) Мат позволяет скомпрометировать авторское слово в глазах читателя, отбить у него охоту превращать роман в цитатник на все случаи жизни, а в самом писателе видеть «глашатая правды, беспристрастного судью пороков своего народа и борца за его интересы» (М. Горький).

Занимавшийся феноменологией юродства Г. П. Федотов выделял три основных момента в этом «парадоксальном подвиге», ставя на первое место как доминирующий в русском юродстве момент аскетического покаяния тщеславия и гордыни, всегда опасных для монашеской аскезы. В лице своих юродивых русская литература ныне приносит покаяние за грех гордыни, в который она впадала в XIX веке, вознамерившись заменить народу истинных пастырей и пророков, убедить народ в том, что одной ее праведностью простоят вся наша земля.

Санкт-Петербург.



Слишком модное слово «ФАШИЗМ»

В последнее время в советской публицистике или нацистской угрозе и об опасности нового «фашистского» переворота. Такое злоупотребление понятиями, связанными с совершенно определенными и тщательно исследованными историческими явлениями, лишь увеличивает замешательство и в без того уже растерянной стране.

Так как серьезный анализ фашизма, да и коммунизма, в доперестроечную эпоху возможен был, по сути дела, лишь на Западе, советское общество довольно плохо подготовлено к осмыслению тоталитарного прошлого как такового, определившего историю всего нашего столетия. Злоупотребление понятием «фашизм» множеством советских историков, публицистов и политиков лучше всего свидетельствует о такой плохой подготовленности. А ведь мы знаем по опыту сталинской эпохи, к каким катастрофическим последствиям может привести навешивание «фашистских» ярлыков чуть ли не на каждого политического противника. Борьба против так называемого социал-фашизма, в то время когда Гитлер уже рвался к власти, лишь ускорила разгром немецкого рабочего движения и становление нацистской диктатуры.

Точное и рефлектированное употребление политических понятий — это не только проявление семантического педантизма, но и вопрос, который иногда решает судьбу всего общества.

В каких условиях расцветает и торжествует фашизм? Чтобы ответить, надо обратить внимание прежде всего на его классические образцы — итальянский и немецкий. В обоих случаях фашистское движение появилось на почве стремительно демократизировавшегося общества, его внезапно перерождения из авторитарно-патриархального в открытое. Этот переход происходил на фоне глубочайшего экономического кризиса и недостаточной укорененности демократии в сознании общества.

Казалось бы, что все эти предпосылки и в сегодняшней России налицо. И все же не хватает самого главного. А именно — тех патриархальных структур и слоев, которые и в Италии и в Германии обеспечили фашизму победу. Для подавляющего

большинства западных исследователей не подлежит сомнению, что, опираясь лишь на свои собственные силы, фашизм абсолютно не был бы в состоянии прийти к власти. Для победы ему нужны были могучие союзники. В Германии это была прусская аристократия и многие крупные предприниматели, которые после долгих колебаний в 1933 году все-таки решили пойти на союз с нацистами. «Мы ангажировали Гитлера», — хвастливо заявил представитель этих кругов Франц фон Папен в 1933 году, явно переоценивая, конечно, силы союзников нацистской партии. В Италии, в свою очередь, фашистов очень быстро приняли крупные землевладельцы и предприниматели. А итальянский монарх, задачей которого было защищать своих подданных от фашистского террора, предложил Муссолини 28 октября 1922 года возглавить новое итальянское правительство.

Союз с патриархальными слоями, олицетворяющими вековую преемственность и контролирующими ключевые позиции в государстве и в экономике, — одно из необходимых условий для победы фашизма. Цель союза — остановить стремительную демократизацию и эмансипацию общества, подавить так называемое восстание масс (то есть независимое рабочее движение) и укрепить расшатанный господствующий строй при помощи новых методов борьбы с политическим противником. Вместо поисков компромисса с ним его уничтожают.

В сегодняшней России патриархальных структур и слоев, которые попытались бы при помощи союза с массовым террористическим движением остановить колесо истории, как известно, нет. Они были уничтожены в 1917 году и во время гражданской войны. Партийная номенклатура превратилась в единственный политический субъект в стране, атомизировав полностью общество, разрушив вековые сословные связи и вековую преемственность. После неудавшегося августовского путча начался, в свою очередь, процесс атомизации и самой казавшейся до тех пор всемогущей номенклатуры. Конечно, на почве раздробленного, потерявшего ориентиры общества и на фоне экономического распада появляются шовинистические де-

магоги, пытающиеся воспользоваться свободами демократии для того, чтобы ее ликвидировать. Но называя чуть ли не каждого антидемократа фашистом, демократы просто обезоруживают себя.

«Слово "фашизм" сегодня стало слишком модным, им злоупотребляют. С его помощью характеризуют все контрреволюционные тенденции и движения, не вникая в сущность фашизма». Слова эти были написаны не после августовского путча, а непосредственно после фашистского переворота в Италии, то есть почти семьдесят лет назад. Их автору — венгерскому коммунисту, пользовавшемуся псевдонимом Джулио Аквила, — не удалось этим предостережением существенно повлиять на своих единомышленников. К категории «фашистов» коммунисты причисляли все большее число своих противников, все больше упуская тем самым из виду подлинный, смертельно опасный фашизм. Глава КПП Эрнст Тельман подтрунивал в 1931 году над коммунистами, которые «из-за нацистских деревьев не видели социал-фашистского леса».

Было бы парадоксом, если бы российские демократы, так решительно отвергающие коммунизм, как раз в борьбе с фашизмом повторяли бы ошибки коммунистов.

Кельн.



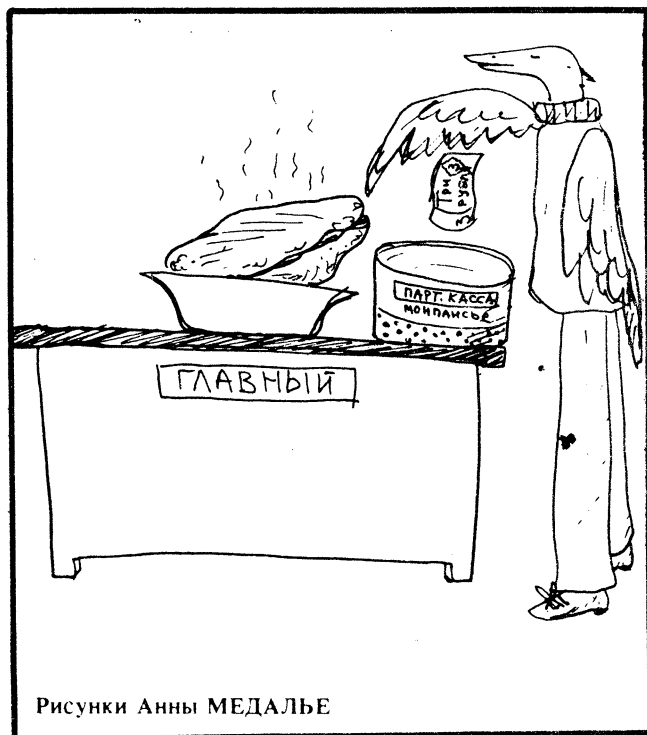
**Присылайте заявки на «Странник»!
Вы можете получать его начиная с любого номера,
а также выкупить наложенным платежом
предыдущие номера по старой цене.**

*Редакция приглашает к сотрудничеству торгующие организации,
альтернативные службы распространения
и частных распространителей.
Контактный телефон 241-45-52.*

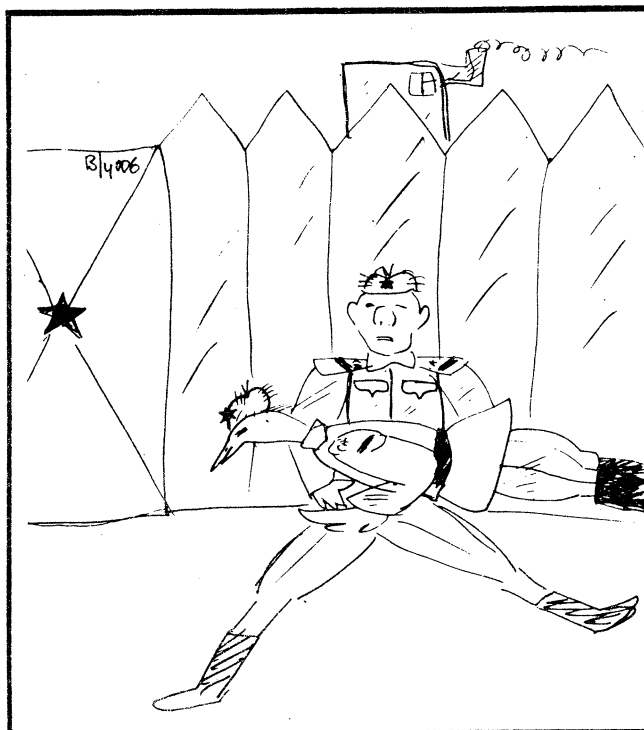
**С заявками и вопросами по поводу распространения журнала
просим обращаться по адресу:
121019, Москва, а/я 60.**



ИСТОРИИ ПРО ЛЕБЕДЕВА



Рисунки Анны МЕДАЛЬЕ



ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Приезжает как-то Лебедев в редакцию районной газеты, а там редактор отдела сидит и руки сложил на столе.

— Добрый день, — говорит Лебедев, — я — журналист из Москвы.

— Ага! — оживает редактор отдела и палец поднимает со значением. — Это повод. Пойдем к главному, — говорит.

Заходят они к главному, и редактор отдела Лебедева представляет.

— Вот, — говорит, — товарищ из Москвы.

— Понятно, — отвечает главный. — Где тут наша партийная касса?

И вскрывает коробку из-под монпансье.

— Тут трех рублей не хватает, — говорит.

— А я добавлю, — говорит Лебедев.

И добавляет три рубля из кармана.

— Вот теперь порядок, — говорит главный. И кричит громко: — Парторг!

Чтоб ему деньги вручить и отправить побыстрее.

Парторг деньги получает и уходит немедля. А главный вынимает из-под стула, на котором сидит, шнур и втыкает его в розетку. И сразу в комнате начинает что-то шипеть и булькать, какая-то, значит, кастрюля в углу.

— А это что? — спрашивает Лебедев.

— Это для пельменей, — отвечает главный.

И все умолкают.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Еще Лебедев на военной службе был. В танковых частях, на территории бывшей ГДР.

Вот сидят они как-то с приятелем Бочаровым, тульским оружейником, в сарае и думают, как им выполнить приказ командования — изготовить кольца для баскетбольных шитов, чтоб мячами в них потом попадать. И решают идти за пределы части, на немецкую мусорку, потому что в танковых частях необходимых железных прутьев нет, конечно.

Занимают они у поваров местных денег и уходят с ними за пределы части. А уж там, за пределами, про всякие прутья тут же забывают, покупают ром и пьют его на косогоре себе в удовольствие. Бутылки, значит, три выпивают.

И возвращаются в часть. Доходят они до забора, а перелезть уже не могут, ослабели сильно. Лежат под забором, шевелятся так и эдак, а перелезть, чтоб в часть все-таки попасть, не могут.

А тут как раз мимо проходят солдаты, окончившие работу на продскладе.

— Чего лежите? — спрашивают.

— Нам туда надо, — отвечают ослабевшие сильно Лебедев и тульский оружейник Бочаров.

И показывают на забор.

— Сейчас мы вас туда перебросим, — говорят солдаты.

Берут Лебедева и тульского оружейника Бочарова за руки и за ноги, словно бы они мешки какие-



нибудь, а не люди, раскачивают и перебрасывают-таки через забор, забрасывают их то есть в пределы части.

А внутри части ходит часовой с автоматом, еще первогодка.

— Стой! — говорит. — Стрелять буду!

Идиот просто.

— Иди сюда! — говорят ему Лебедев и тульский оружейник Бочаров, как-то вместе говорят одно и то же.

Хватают часового, скручивают, автомат его в одну сторону выбрасывают (на крышу сарая), магазин — в другую (за пределы части) и идут себе спать (в еще другой сарай).

Ну, конечно, часовой свистит, тревогу подымает, и Лебедева с тульским оружейником Бочаровым арестовывают.

Вот поднимают их и ведут, совсем еще пьяных по-прежнему, вдоль пределов части. А они ногами в сапогах топаят и песню поют. Там, в этой песне, главное — припев: «Тупа-тупа, хуй-залупа...» И т. д. А также, пожалуй, следующее: «Кабы эту тещу за пизду да в рошу. Тупа-тупа, хуй-залупа, за пизду да в рошу».

Офицеры высыпали из штаба, смотрят на Лебедева и тульского оружейника Бочарова с любопытством. А тульский оружейник Бочаров останавливается внезапно и говорит, подбоченившись:

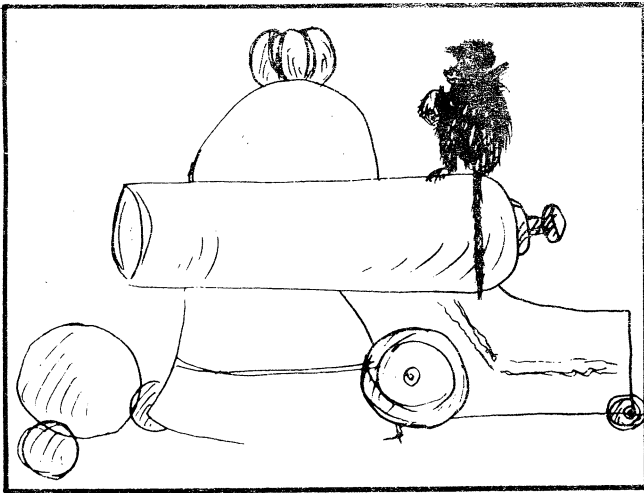
— Что, суки, выставились? Русского солдата не видели?

В общем, посадили обоих на гауптвахту. На десять суток.

Но все дело в том, что история эта для Лебедева (и тульского оружейника Бочарова, конечно) окончилась благополучно. Спустя пару дней начались учения, а Лебедев и тульский оружейник Бочаров были механики-водители.

Так их и отпустили.

Без механика-водителя что за танк?



ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Шел как-то Лебедев погожим осенним днем с Московской товарной биржи в Кремль — он там хотел на Царь-пушку и Царь-колокол взглянуть, успокоиться душой после встречи с брокерами, которые показались ему шантрапой, — и увидел на Выставке достижений народного хозяйства фотографа с обезьянкой на плече. Ухоженная такая обезьянка была, и гладкая ее шерстка отливала зеленым. «Где же я видел такой отлив? — подумал

Лебедев. — Такой зеленоватый оттенок? Точь-в-точь как у этой обезьянки! Где?»

И только на выходе, миновав фонтан, где золоченые фигуры пятнадцати республик, вспомнил. «Вспомнил, на что похож зеленоватый оттенок обезьянки, — подумал Лебедев. — Шерсть у нее — точь-в-точь как тот азербайджанский коньяк, что пили мы с Юдиным в прошлый вторник». И, установив этот факт, Лебедев успокоился душой, заметно повеселел и раздумал идти в Кремль (каяться там Царь-пушки и Царь-колокола), поскольку не было уже в этом надобности, а направился к себе в контору, где продал десять тонн бумаги, купил сорок, заключил договор с «Международной книгой» и застраховал имущество и жизнь девяти сотрудников; всего сделок вышло тысяч на пятьсот.

Так погожим осенним днем благодаря одному лишь воспоминанию Лебедев наворотил кучу дел.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Заходит как-то Лебедев после работы в магазин купить водки. В одной руке пустая бутылка на обмен, в другой портфель. А там две очереди, одна большая — за водкой-по-талонам-и-бутылку-в-обмен, а вторая вовсе отсутствует — коньяк там. «Не буду стоять, — думает Лебедев, — возьму коньяк. Ни талонов за него, ни бутылки не надо».

И берет.

И заталкивает этот коньяк в портфель. Пустая же бутылка не помещается.

— Ты! А чего ты без очереди берешь? — спрашивает у Лебедева какой-то завистливый молодой человек из очереди, где по талонам.

— А тебе чего? — говорит Лебедев. — Стоишь там — и стой.

— А ну давай выйдем, — говорит завистник.

— Давай.

И выходят.

— Чего тебе? — спрашивает Лебедев.

А тот не отвечает, кричит куда-то в воздух:

— Гриша! Петя! Саня!

И еще какие-то имена.

Сумерки. И Лебедеву кажется, что из этих сумерек люди на него надвигаются — вероятно, обладатели тех имен, что завистник выкрикивает.

Тогда Лебедев размахивается пустой бутылкой, что в портфель не поместилась, и бац этого человека промеж глаз!

Человек падает, бутылка вдребезги (как в американском кино).

А Лебедев уходит.

Он еще рассказывал потом, что волновался, не убил ли. И придя домой, из окна выглядывал, нет ли скопления людей, «скорой помощи».

Но было тихо.

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

Работал как-то Лебедев в редакции журнала «Турист». И был там казначеем профкома. Он собирал членские взносы и складывал их в трехлитровую банку. По мере приближения дня зарплаты сотрудники (все члены) подходили к Лебедеву и говорили примерно так:

— Лебедев, одолжи до получения мой профсоюзный взнос, а я его потом отдам сразу за два срока.

И писали расписки об этом.



К концу месяца оказывалось таким образом у Лебедева в банке немножко денег да ворох бумажек, расписок то бишь.

И вот однажды в такой, значит, период воскресным днем остался Лебедев дежурным по редакции. «Помню, было жарко», — вспоминает он.

— Давай выпьем, что ли, — предложил его напарник.

— Давай.

И принялись они карманы выворачивать, чтоб на выпивку собрать. Но не хватило. Осмотрели и

остатки профвзносов — не хватило все равно.

— У зав. международным отделом должно быть.

Пришли приятели в кабинет, открыли ящик стола — и точно: обнаружили там бутылку коньяка.

Лебедев нашел бумажку и написал на ней: «Взял бутылку коньяка, завтра верну. Лебедев». И положил эту бумажку на место взятой бутылки. Расписку то есть дал.

В том же кабинете возле кактуса нашли стакан, накрытый бумажкой. Бумажку выбросили, содержимое вылили в горшок с кактусом, а коньяк при помощи этого стакана выпили.

На следующее утро Лебедев отсутствовал в редакции, на задании был, а когда пришел к обеду, подвергся нападению со стороны зав. международным отделом.

— Что ж ты за сволочь такая, Лебедев? — спрашивал зав. международным отделом. — Так меня выставить! Ты что сделал?

И рассказал, что было. Пришли, по его словам, чехи с визитом, он им кофе распорядился подать, а еще предложил коньяку. «О, да, да», — закивали чехи. Он в стол, а там бумажка вместо бутылки.

— Ну не гад ли ты после этого?

И пообещал Лебедеву устроить еще.

Потом остыл немного и спросил:

— Ну коньяк — я понимаю, а зачем было водку в кактус выливать?

— Какую водку?

— Ту, что в стакане была, под бумажкой!

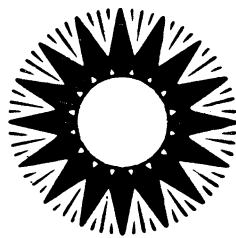
— Ах вот оно что! — изумился Лебедев. — То-то, я думал, зачем там бумажка.

Вот такая произошла история. Она еще продолжение имеет в том же ключе примерно: зав. международным отделом подговорил друзей прийти к Лебедеву как к казначею якобы с проверкой, чтоб отомстить. В общем, ясно тут.

Однако всех нас, кто слушал этот рассказ, сидя в прокуренном кабинете Лебедева, дальнейшее развитие заинтересовало мало. Нас почему-то взволновала судьба кактуса.

— С кактусом-то, кактусом что дальше было? Не погиб? — закричали мы в один голос.

— Нет! — ответил Лебедев. — Что вы! Наоборот! Стал расти. Окреп и раздался. Он даже расцвел от этого! Пышнее стал.



«Странник» печатает рекламу и объявления.

Цена 1 кв.см журнальной площади 25 руб., одной полосы — 10 тыс.руб.

С предложениями обращаться по адресу: 121019, Москва, а/я 60. Тел. 241-45-52.

Редакция принимает к рассмотрению художественную прозу объемом до 4 авт.л., статьи и публикации до 2 авт.л. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция лишь сообщает автору о своем решении. В связи с удорожанием почтовых расходов убедительно просим вас каждый раз вкладывать в вашу отправку (письмо, бандероль с рукописью) чистый конверт с маркой — это послужит гарантией своевременного ответа.

Обыкновенные лицемеры прикидываются голубями, а политические и литературные — орлами. Но не смущайтесь их орлиным видом. Это не орлы, а крысы или собаки.

А. П. Чехов.



В номере:

Госзаказ на идеологию

**Тимур Кибиров:
и Ленин был маленьким!**

**Неизвестная новелла
Франца Кафки**

Теория и практика мата

**От Государственной думы
до «Московской трибуны»**

**«Нейтральный флаг»
Владимира Короленко**

Достоевский и еврейство

Волчья ночь для поэтов